ВИРДЖИНИЯ
ВУЛФ

Миссис Дэллоуэй



АЗБУКА-КЛАССИКА

Миссис Дэллоуэй
Вирджиния Вулф

Вирджиния – Вулф. Миссис Дэллоуэй

Вирджиния – Вулф
Миссис Дэллоуэй

Миссис Дэллоуэй сказала, что сама купит цветы. Люси и так с ног сбилась. Надо двери с петель снимать; придут от Рампльмайера. И вдобавок, думала Кларисса Дэллоуэй, утро какое — свежее, будто нарочно приготовлено для детишек на пляже.

Как хорошо! Будто окунаешься! Так бывало всегда, когда под слабенький писк петель, который у нее и сейчас в ушах, она растворяла в Бортоне стеклянные двери террасы и окуналась в воздух. Свежий, тихий, не то что сейчас, конечно, ранний, утренний воздух; как шлепок волны; шепоток волны; чистый, знобящий и (для восемнадцатилетней девчонки) полный сюрпризов; и она ждала у растворенной двери: что-то вот-вот случится; она смотрела на цветы, деревья, дым оплетал их, вокруг петляли грачи; а она стояла, смотрела, пока Питер Уолш не сказал: «Мечтаете среди овощей?» Так, кажется? «Мне люди нравятся больше капусты». Так, кажется? Он сказал это, вероятно, после завтрака, когда она вышла на террасу. Питер Уолш. На днях он вернется из Индии, в июне, в июле, она забыла, когда именно, у него такие скучные письма; это слова его запоминаются; и глаза; перочинный ножик, улыбка, брюзжанье и, когда столько вещей безвозвратно

ушло — до чего же странно! — кое-какие фразы, например про капусту.

Она застыла на тротуаре, пережидая фургон. Прелестная женщина, подумал про нее Скруп Певис (он ее знал, как знаешь тех, кто живет рядом с тобой в Вестминстере); чем-то, пожалуй, похожа на птичку; на сойку; сине-зеленая, легонькая, живая, хоть ей уже за пятьдесят и после болезни она почти совсем поседела. Не заметив его, очень прямая, она стояла у перехода, и лицо ее чуть напряглось.

Потому что, когда проживешь в Вестминстере — сколько? уже больше двадцати лет, — даже посреди грохота улицы или проснувшись посреди ночи, да, положительно — ловишь это особенное замирание, неописуемую, томящую тишину (но, может быть, все у нее из-за сердца, из-за последствий, говорят, инфлюэнцы) перед самым ударом Биг-Бена. Вот! Гудит. Сперва мелодично — вступление; потом непреложно — час. Свинцовые круги побежали по воздуху. Какие же мы все дураки, думала она, переходя Виктория-стрит. Господи, и за что все это так любишь, так видишь и постоянно сочиняешь, городишь, ломаешь, ежесекундно строишь опять; но и самые невозможные пугала, обиженные судьбой, которые

сидят у порога, совершенно отпетые, заняты тем же; и потому-то бесспорно, их не берут никакие постановления парламента: они любят жизнь. Взгляды прохожих, качание, шорох, шелест; грохот, клекот, рев автобусов и машин; шарканье ходячих реклам; духовой оркестр, стон шарманки и поверх всего странно тоненький взвизг аэроплана, — вот что она так любит: жизнь; Лондон; вот эту секунду июня.

Да, середина июня. Война кончилась, в общем, для всех; правда, миссис Фокскрофт вчера изводилась в посольстве из-за того, что тот милый мальчик убит и загородный дом теперь перейдет кузену; и леди Бексборо открывала базар, говорят, с телеграммой в руке о гибели Джона, ее любимца; но война кончилась; кончилась, слава Богу. Июнь. Король с королевой у себя во дворце. И повсюду, хотя еще рань, все звенит, и цокают пони, и стучат крикетные биты; «Лордз»[1], «Аскот»[2], «Рэниле»[3] и всякое такое; они еще оде-

1 Примечания: 1

Крикетный стадион в Лондоне.

2 Примечания: 2

Ипподром близ Виндзора, где в июне проходят ежегодные скачки — важное событие в жизни английской аристократии.

3 Примечания: 3

Стадион для игры в поло.

ты синеватым, матовым блеском утра, но день, разгулявшись, их обнажит, и на полях и площадках будут ретивые пони, они тронут копытцами землю, и поскачут, поскачут, поскачут лихие наездники и в веющей кисее хохотуньи-девчонки, которые протанцевали ночь напролет, а сейчас выводят потешных пушистых собачек; и уже сейчас, с утра пораньше, скромно-царственные вдовицы мчат на своих лимузинах по каким-то таинственным делам; а торговцы возятся в витринах, раскладывают подделки и бриллианты, прелестные зеленоватые броши в старинной оправе на соблазн американцам (но не надо транжирить деньги, сгоряча покупать такие вещи Элизабет), а она сама, любя все это нелепой и верной любовью и даже причастная ко всему этому, ибо предки были придворными у Георгов, — сама она тоже сегодня зажжет огни; у нее сегодня прием. А странно, в парке — вдруг — какая тишина; жужжанье; дымка; медленные, довольные утки; важные зобатые аисты; но кто же это шествует, выступая, как ему и положено, на фоне правительственных зданий, держа под мышкой папку с королевским гербом, кто как не Хью Уитбред, старый друг Хью — дивный Хью!

— День добрый, Кларисса! — сказал Хью чуть-

чуть чересчур, пожалуй, изысканно, учитывая, что они друзья детства. — Чему обязан?

— Я люблю бродить по Лондону, — сказала миссис Дэллоуэй. — Нет, правда. Больше даже, чем по полям.

А они как раз приехали — увы — из-за докторов. Другие приезжают из-за выставок; из-за оперы; вывозить дочерей; Уитбреды вечно приезжают из-за докторов. Кларисса сто раз навещала Ивлин Уитбред в лечебнице. Неужто Ивлин опять заболела? «Ивлин изрядно расклеилась», — сказал Хью, производя своим ухоженным, мужественным, красивым, превосходно драпированным телом (он всегда был почти чересчур хорошо одет, но, наверно, так надо, раз у него какая-то там должность при дворе) некий маневр — вздувания и сокращения, что ли, — и тем давая понять, что у жены кой-какие неполадки в организме, нет, ничего особенного, но Кларисса Дэллоуэй, старинная подруга, уж сама все поймет, без его подсказок. Ах да, ну конечно, она поняла; какая жалость; и одновременно с вполне сестринской заботой Кларисса странным образом ощутила смутное беспокойство по поводу своей шляпки. Наверное, не совсем подходящая шляпка для утра? Дело в том, что Хью, который уже спешил

дальше, изысканно помахивая шляпой и уверяя Клариссу, что ей на вид восемнадцать лет и, разумеется, разумеется, он к ней сегодня придет, Ивлин просто настаивает, только он слегка опоздает из-за приема во дворце, ему туда надо отвести одного из мальчишек Джима, — Хью всегда чуть-чуть подавлял ее; она рядом с ним чувствовала себя как школьница; но она к нему очень привязана; во-первых, знакомы целую вечность, и к тому же он, в общем, вполне ничего, хотя Ричарда он доводит чуть не до исступления, ну а Питер Уолш, так тот по сей день ей не может простить благосклонности к Хью.

В Бортоне были бесконечные сцены. Питер бесился. Хью, конечно, никоим образом ему не чета, но уж и не такой он болван, как Питер изображал; не просто разряженный павлин. Когда старушка мать просила его бросить охоту или отвезти ее в Бат[4], он без слова повиновался; нет, правда же, он совсем не эгоист, а насчет того, что у него нет сердца, нет мозгов, а исключительно одни манеры и воспитание английского джентльмена — так это уж только с самой невыгодной стороны рекомендует милого Питера; да, он умел быть

4 Примечания: 4

Курорт с минеральными водами в Сомерсете; известен руинами римских бань.

несносным; совершенно невозможным; но как чудно было бродить с ним в такое вот утро.

(Июнь выпятил каждый листок на деревьях. Матери Пимлико кормили грудью младенцев. От флота в Адмиралтейство поступали известия. Арлингтон-стрит и Пиккадилли заряжали воздух парка и заражали горячую, лоснящуюся листву дивным оживлением, которое так любила Кларисса. Танцы, верховая езда — она когда-то любила все это.)

Ведь пусть они сто лет как расстались — она и Питер; она ему вообще не пишет; его письма — сухие, как деревяшки; а на нее все равно вдруг находит: что он сказал бы, если б был сейчас тут? Иной день, иной вид вдруг и вызовут его из прошлого — спокойно, без прежней горечи; наверное, такая награда за то, что когда-то много думал о ком-то; тот приходит к тебе из прошлого в Сент-Джеймсский парк в одно прекрасное утро — возьмет и придет. Только Питер — какой бы ни был чудесный день, и трава, и деревья, и вот эта девчушка в розовом, — Питер не замечал ничего вокруг. Сказать ему — и тогда он наденет очки, он посмотрит. Но интересовали его судьбы мира. Вагнер, стихи Поупа, человеческие характеры вообще и ее недостатки в частности. Как он школил

ее! Как они ссорились! Она еще выйдет за премьер-министра и будет встречать гостей, стоя на верху лестницы; безупречная хозяйка дома — так он ее назвал (она потом плакала у себя в спальне), у нее, он сказал, задатки безупречной хозяйки.

И вот, оказывается, она все еще не успокоилась, идет по Сент-Джеймсскому парку, и доказывает себе, и убеждается, что была права, — конечно, права! — что не вышла за него замуж. Потому что в браке должна быть поблажка, должна быть свобода и у людей, изо дня в день живущих под одной крышей; и Ричард ей предоставляет свободу; а она — ему. (Например, где он сегодня? Какой-то комитет. А какой — она же не стала расспрашивать.) А с Питером всем надо было б делиться; он во все бы влезал. И это невыносимо, и когда дошло до той сцены в том садике, около того фонтана, она просто должна была с ним порвать, иначе они бы погибли оба, они бы пропали, бесспорно; хотя не один год у нее в сердце торчала заноза и саднила; а потом этот ужас, в концерте, когда кто-то сказал ей, что он женился на женщине, которую встретил на пароходе по пути в Индию! Никогда она этого не забудет. Холодная, бессердечная, чопорная — хорошо он ее честил. Ей не понять его чувств. Но уж красотки-

то в Индии, те, конечно, его понимают. Пустые, смазливые, набитые дуры. И нечего его жалеть. Он вполне счастлив — он уверял, — совершенно счастлив, хотя ничего абсолютно не сделал такого, о чем было столько говорено; взял и загубил свою жизнь; вот что до сих пор ее бесит.

Она дошла до ворот парка. Постояла минутку, поглядела на катившие по Пиккадилли автобусы.

Ни о ком на свете больше не станет она говорить: он такой или этакий. Она чувствует себя бесконечно юной; одновременно невыразимо древней. Она как нож все проходит насквозь; одновременно она вовне, наблюдает. Вот она смотрит на такси, и всегда ей кажется, что она далеко-далеко на море, одна; у нее всегда такое чувство, что прожить хотя бы день — очень-очень опасное дело. Не то чтоб она считала себя такой уж тонкой или незаурядной. Просто удивительно, как она ухитрилась пройти по жизни с теми крохами познаний, которыми снабдила их фройляйн Дэниелс. Она ведь ничего не знает; ни языков, ни истории; она и книг-то толком уже не читает, разве что мемуары на сон грядущий; и все равно — как это захватывает; все это; скользящие такси; и больше она не станет говорить про

Питера, она не станет говорить про самое себя: я такая, я этакая.

Единственный дар ее — чувствовать, почти угадывать людей, думала она, идя дальше. Оставьте ее с кем-нибудь в комнате, и она сразу выгнет спину, как кошка; или она замурлычет. Девоншир-Хаус, Бат-Хаус, особняк с фарфоровым какаду — она их помнит в огнях; и были Сильвия, Фред, Салли Сетон — бездна народа; танцевали всю ночь до утра; уже фургоны тащились на рынок; домой шли через парк. Еще она помнит, как однажды бросила шиллинг в Серпантин[5]. Но подумаешь, мало ли кто что помнит; а любит она — вот то, что здесь, сейчас, перед глазами; и какая толстуха в пролетке. И разве важно, спрашивала она себя, приближаясь к Бонд-стрит, разве важно, что когда-то существование ее прекратится; все это останется, а ее уже не будет, нигде. Разве это обидно? Или наоборот — даже утешительно думать, что смерть означает совершенный конец; но каким-то образом, на лондонских улицах, в мчащемся гуле она останется, и Питер останется, они будут жить друг в друге, ведь часть ее — она убеждена — есть в родных деревьях; в доме-

5 Примечания: 5
Искусственное озеро в Гайд-Парке.

уроде, стоящем там, среди них, разбросанном и развалленном, в людях, которых она никогда не встречала, и она туманом лежит меж самыми близкими, и они поднимают ее на ветвях, как деревья, она видела, на ветвях поднимают туман, но как далеко-далеко растекается ее жизнь, она сама. Но о чем это она размечталась, глядя в витрину Хэтчарда? К чему подбирается память? И какой молочный рассвет над полями видится ей сквозь строки распахнутой книги:

Злого зноя не страшись
И зимы свирепой бурь.[6]

За эти последние годы во всех, мужчинах и женщинах, вскрылись источники слез. Слез и горя; смелости и выдержки; замечательного героизма и стойкости. Подумать хотя бы о женщине, которой она особенно восхищается, — как леди Бексборо открывала базар.

В витрине были «Веселые вылазки Джорока»

6 Примечания: 6
Шекспир. Цимбелии.

и «Мистер Спонж»[7], «Мемуары» миссис Асквит[8], «Большая охота в Нигерии» — все лежали распахнутые. Бездна книг; но ни одной уж совсем подходящей, чтоб можно понести Ивлин Уитбред в лечебницу. Такой, чтоб ее развлекла и заставила эту неописуемо тощую и крошечную женщину глянуть на Клариссу, когда она войдет, хоть на миг потеплевшими глазами, прежде чем пуститься в вечный разговор о женских болезнях. Как приятно, если радуются, когда ты входишь, подумала Кларисса, и повернула, и пошла обратно к Бонд-стрит, злясь на себя, потому что глупость — делать что-то из сложных каких-то соображений. Стать бы как Ричард, например, и делать что-то просто так, раз надо, а она, думала Кларисса, ожидая у перехода, вечно делает что-то не просто, чтоб делать, а чтобы понравиться; полный идиотизм, думала она (но вот полицейский поднял руку), никого ведь не проведешь. О, если б начать жизнь сначала! — думала она, ступая на мостовую. Хоть выглядеть бы иначе!

---

7 Примечания: 7

Сборники рассказов Роберта Смита Сертиза (1805–1864), юмористически изображавшего жизнь английской аристократии в поместьях.

8 Примечания: 8

Асквит Марго (1864–1945) — жена Генри Асквита, премьер-министра Великобритании в 1908–1916 гг.

Во-первых, хорошо бы быть смуглой, как леди Бексборо, с кожей, как тисненая юфть, и прекрасными глазами. Хорошо бы, как леди Бексборо, быть медленной, статной; крупной; по-мужски интересоваться политикой; иметь загородный дом; быть царственной; откровенной. У нее же, наоборот, тело узкое, как стручок; до смешного маленькое личико, носатое, птичье. Зато она держится прямо, что правда, то правда; и у нее красивые руки и ноги; и одевается она хорошо, особенно если вспомнить, как она мало на это тратит. Но в последнее время — странно — об этом своем теле (она остановилась полюбоваться на голландскую живопись), этом теле, от которого никуда не денешься, она забывает, просто забывает. И какое-то сверхстранное чувство, будто она невидима; невиданна; неведома, и будто другая выходила замуж, рожала, а она только идет и идет без конца в поразительном шествии вместе со всеми в толпе по Бонд-стрит; некая миссис Дэллоуэй; даже и не Кларисса; а миссис Дэллоуэй, жена Ричарда Дэллоуэя.

Ей страшно нравилась Бонд-стрит; Бонд-стрит ранним утром в июне; флаги веют; магазины; ни помпы, ни мишуры; один-одинешенек рулон твида в магазине, где папа пятьдесят лет подряд

заказывал костюмы; немного жемчуга; семга на льду.

— Вот и все, — сказала она, глядя в рыбную витрину. — Вот и все, — повторила она, задержавшись у магазина перчаток, где до войны можно было купить почти безукоризненные перчатки. А старый дядя Уильям всегда говорил, что леди узнается по туфелькам и перчаткам. Как-то утром, в разгар войны, он повернулся на постели к стене. Он сказал: «С меня хватит». Перчатки и туфельки; она помешана на перчатках; а родной дочери, ее Элизабет, и на туфли и на перчатки с высокой горы наплевать.

Наплевать, наплевать, думала она, идя по Бонд-стрит к цветочному магазину, где она покупала цветы, когда у нее бывал прием. Вообще-то больше всего Элизабет занимает ее песик. Сегодня весь дом варом пропах. Но уж лучше бедняжка Бом, чем мисс Килман; лучше чумка, и вар, и прочее, чем сидеть взаперти в душной спальне с молитвенником! Да чуть ли не что угодно лучше. Но, может быть, это, как Ричард говорит, возрастное, пройдет, все девочки через это проходят. Влюбленность такая. Хотя — зачем же именно в мисс Килман? Которой, конечно, несладко пришлось; и на это надо делать скидку, и Ричард говорит,

она очень способная, по складу ума настоящий историк. Но, во всяком случае, они неразлучны. И Элизабет, ее родная дочь, ходит к причастию; а как полагается одеваться, как полагается вести себя с гостями за обедом — это ее нисколечко не занимает, и вообще, она замечала, религиозный экстаз делает людей черствыми («идеи» разные — тоже), бесчувственными; мисс Килман, например, в лепешку расшибется во имя русских, будет морить себя голодом во имя австрийцев, а в обычной жизни она сущее бедствие, совершенный чурбан в этом зеленом своем макинтоше. Носит его не снимая; вечно потная; пяти минут не пробудет в комнате, чтоб ты не ощутила, насколько она возвышенна, а ты ничтожна; какая она бедная, а ты богатая; как она живет в трущобах, без подушки, или без кровати, или без одеяла, бог там ее знает без чего, и вся душа ее иссохла от обиды из-за того, что ее из школы уволили во время войны — бедное, озлобленное, убогое создание! Ведь не ее же ненавидишь, а самое понятие, воплощенное в ней, вобравшее, конечно, многое вовсе и не от мисс Килман; ставшее призраком, из тех, с которыми бьешься ночами, которые кровь из тебя сосут и мучат, тираны; а ведь выпади кость иначе, кверху черным, не

белым, и она бы мисс Килман даже любила! Но только не на этом свете. Нет уж.

Ну вот, опять, спугнула все-таки злобное чудище! И теперь кончено, уже затрещали сучья, — стук копыт идет по занесенной листьями чаще, непроходимой чаще души; никогда нельзя быть спокойной и радоваться, вечно стережет и готова напасть эта тварь — ненависть; и, особенно после болезни, повадилась причинять боль, и боль отдается в хребте, и радость от красоты, дружбы, от того, что ей хорошо, ее любят и она восхитительно содержит дом, колеблется, шатается, будто и впрямь чудище подкапывается под корень, и вся эта сень довольства оборачивается сплошным эгоизмом. Ох, эта ненависть!

Глупости, глупости, кричало сердце Клариссы, когда она толкала дверь в цветочный магазин Малбери.

Она вошла, легкая, высокая, очень прямая навстречу сиянию на бляшке личика мисс Пим, у которой всегда были красные руки, будто она держала их вместе с цветами в холодной воде.

Тут были: шпорник, душистый горошек, сирень и гвоздики, бездна гвоздик. Были розы; были ирисы. Ох — и она вдыхала земляной, сладкий запах сада, разговаривая с мисс Пим, которая

была ей обязана и считала доброй, и она правда была к ней когда-то добра, очень добра, но было заметно, как она в этом году постарела, когда она кивала ирисам, розам, сирени и, прикрыв глаза, впитывала после грохота улицы особенно сказочный запах, изумительную прохладу. И как свежо, когда она снова открыла глаза, глянули на нее розы, будто кружевное белье принесли из прачечной на плетеных поддонах; а как строги и темны гвоздики и как прямо держат головки, а душистый горошек тронут лиловостью, снежностью, бледностью, будто уже вечер, и девочки в кисее вышли срывать душистый горошек, и розы на исходе пышного летнего дня с густо-синим, почти чернеющим небом, с гвоздикой, шпорником, арумом; и будто уже седьмой час, и каждый цветок — сирень, гвоздика, ирисы, розы — сверкает белым, лиловым, оранжевым, огненным и горит отдельным огнем, нежным, четким, на отуманенных клумбах; и какие милые бабочки кружили над вишневым пирогом и сонным уже первоцветом!

И, переходя следом за мисс Пим от одного кувшина к другому, выбирая, «Глупости, глупости!» — говорила она себе все спокойнее, будто яркость, и запах, и красота, и признательность, и

доверие мисс Пим несли ее, как волна, и смывали чудище-ненависть, смывали все; и волна несла ее самое, выше, выше, пока — ой! — на улице бахнул пистолетный выстрел!

— Господи, эти автомобили, — сказала мисс Пим, и бросилась к окну, и тотчас, прижимая к груди душистый горошек, обратила к Клариссе извиняющуюся улыбку, будто эти автомобили, эти шины — всецело ее вина.

Причиной страшного грохота, заставившего миссис Дэллоуэй вздрогнуть, а мисс Пим броситься к окну и потом извиняться, был автомобиль, который врезался в тротуар как раз напротив цветочного магазина Малбери. Перед глазами замерших, конечно, прохожих мелькнуло сверхзначительное лицо на фоне сизой обивки, но тотчас мужская рука проворно задернула шторку, после чего остался виден лишь сизый квадратик, не более.

И, однако, сразу же понеслись слухи от середины Бонд-стрит к Оксфорд-стрит, с одной стороны, а с другой — к парфюмерии Аткинсона, понеслись невидно, неслышно, как облако, быстрое, легкое облако над холмами и, как облако, строгостью и тишиной наплывали на лица, за миг до того совершенно рассеянные. Теперь же тайна

их коснулась крылом; их призывал голос власти; подле витал дух обожания, с разинутым ртом и завязанными глазами. Никто, однако, не знал, чье на фоне сизой обивки мелькнуло лицо. Принца Уэльского, королевы ли, премьер-министра? Чье лицо? Никто не знал.

Эдгар Дж. Уоткинс, перекинув через руку смотанную проводку, сказал громко, шутя, разумеется:

— Ето примерминистера машина.

Септимус Уоррен-Смит, застрявший на тротуаре, услышал его.

Септимус Уоррен-Смит, примерно лет тридцати, бледнолицый, носатый, в желтых ботинках, но в обтрепанном пальтеце и с такой тревогой в карих глазах, что кто на него ни взглянет, сразу тревожился тоже. Мир поднял хлыст; куда падет удар?

Все стало. Гремели моторы, как неровный пульс отдается во всем теле. Солнце невозможно пекло из-за того, что автомобиль застрял у цветочного магазина Малбери; старые дамы в верхнем этаже автобусов распускали черные зонтики; там и сям с веселым щелчком распахивался то зеленый зонтик, то красный. Миссис Дэллоуэй с охапкой душистого горошка в руках высунула в окно

розовое маленькое личико, выражающее недоумение. Все смотрели на автомобиль. Септимус тоже смотрел. Мальчишки спрыгивали с велосипедов. Еще и еще машины попадали в затор. А тот автомобиль стоял с затянутыми шторками, и на шторках был странный рисунок, наподобие дерева, думалось Септимусу, и оттого, что все, все стягивалось у него на глазах к единому центру, будто что-то страшное совсем почти вышло уже на поверхность и вот-вот могло взметнуться костром, Септимус сжался от ужаса. Мир дрожал, и качался, и грозил взметнуться костром. Это из-за меня затор, подумал он. На него, наверное, смотрят, пальцами тычут; и неспроста его, значит, придавило, пригвоздило к тротуару? Только зачем?

— Пойдем, Септимус, — говорила его жена, маленькая, большеглазая, с личиком бледным и узким; итальяночка.

Но Лукреция и сама не могла оторвать глаз от автомобиля с деревцами на шторках. Может, это королева? Королева за покупками едет? Шофер что-то открыл, что-то повертел и захлопнул, а потом снова сел на свое место.

— Пошли, — сказала Лукреция.

Но ее муж — ведь они четыре, нет, пять лет уже

как женаты — топнул ногой, дернулся и сказал: «Ладно!» — так зло, будто она к нему пристает.

Люди заметят; люди увидят. Люди, думала она, разглядывая толпу, уставившуюся на автомобиль; англичане — со своими детишками и лошадками, в своих этих костюмах, которые, кстати, ей нравились; но они теперь стали именно «люди», потому что Септимус сказал: «Я покончу с собой», а такое нельзя говорить. Вдруг услышат! Она разглядывала толпу. «Помогите! Помогите! — хотелось ей крикнуть мальчишкам в мясной лавке и женщинам. — Помогите!» А еще осенью они с Септимусом стояли на набережной Виктории под одним плащом, Септимус читал газету, не слушал, и она выхватила у него газету и расхохоталась в лицо старику, который их видел! А беду вот скрываешь. Надо его утащить в какой-нибудь парк.

— Давай перейдем, — сказала она.

Она имела право на его руку, пусть у него и не осталось никаких чувств. Она, наивная, юная, двадцатичетырехлетняя, ради него покинула родину и друзей — он не должен ее обижать.

Автомобиль же с затянутыми шторками и загадочной непроницаемостью проследовал к Пиккадилли, по-прежнему под упорными

взорами, по-прежнему овевая лица по обеим сторонам улицы темным ветерком благоговенья — к принцу ли, королеве, премьер-министру, не знал никто. Всего трое и всего-то секунду видели то лицо. Даже и насчет пола возникли уже разногласия. Но определенно — сама слава восседала в автомобиле, и слава за шторками следовала по Бонд-стрит, совсем рядышком с простыми людьми, которым в первый и последний раз в жизни привелось быть бок о бок с величием Англии, символом государства, который смогут опознать любопытные археологи, роясь в наших развалинах и находя только кости, да обручальные кольца вперемешку с прахом, да золотые коронки на несчетных прогнивших зубах, там, где Лондон сейчас, и утро, среда, и толпится народ на Бонд-стрит. Лицо же в автомобиле смогут опознать и тогда.

Вероятно, королева, думала миссис Дэллоуэй, выходя от Малбери с цветами. Да, королева. И на лице ее застыло сверхдостойное выражение, пока она стояла на солнце возле магазина и автомобиль с затянутыми шторками медленно проплывал мимо. Королева отправляется куда-то в больницу. Королева открывает базар, думала Кларисса.

Шум для такой рани был удивительный. «Лордз», «Аскот», «Херлингем»[9]. Да что же это? — удивлялась Кларисса, когда перекрыли движение. Английские буржуа средней руки, сидевшие в профиль к ней во втором этаже автобусов со свертками, зонтиками и — да, в эту жару — в мехах, представляли собой, Кларисса считала, смехотворное, невозможное, бог знает какое, просто непостижимое зрелище. И чтобы королеву задерживали, чтобы королеве не давали проехать! Кларисса застряла по одну сторону Брук-стрит; сэр Джон Бакхэст, старый судья, — по другую, и тот автомобиль был как раз между ними (сэр Джон давным-давно постиг, что похвально, что предосудительно, и ему понравилась хорошо одетая женщина), когда шофер, чуть-чуть наклоняясь вперед, что-то сказал или показал полицейскому, и тот козырнул, поднял руку, тряхнул головой, сдвинул автобус в сторону, и автомобиль тронулся. Медленно, почти бесшумно он двинулся с места.

И Кларисса догадалась; Кларисса все поняла; она разглядела что-то белое, волшебное, круглое в руке у шофера, диск, с оттиснутым именем

---

9 Примечания: 9
Лондонский аристократический клуб для игры в поло и его стадион.

— королевы, премьер-министра, принца Уэльского? — прожигающим путь себе собственным блеском (автомобиль делался меньше, меньше, скрывался у Клариссы из глаз), чтоб затмевать сверкание люстр, и звезд, и дубовых листьев, и прочего, и Хью Уитбреда, и цвет английского общества — нынче вечером в Букингемском дворце. И у самой Клариссы тоже сегодня прием. Лицо ее чуть напряглось. Да, она будет сегодня встречать гостей, стоя на верху лестницы.

Автомобиль исчез, но следом легкая рябь побежала по магазинам перчаток и шляпок, по магазинам мужских костюмов вдоль тротуаров Бонд-стрит. На целых тридцать секунд все головы замерли, дружно склонившись в одном направлении — к окнам. Выбирая перчатки — какие взять, до локтя ли, выше ли, лимонные ли, бледно-серые? — на повороте фразы замерли дамы. Нечто произошло. До того пустячное в каждом отдельном случае, что и точнейшему математическому устройству, улавливающему земные толчки даже в далеком Китае, ничего бы тут не отметить; в целом, однако ж, огромное нечто; волнующее; ибо во всех магазинах — мужских ли костюмов, перчаток ли — незнакомые люди посмотрели друг другу в глаза; подумав о мертвых;

о флаге; о Великой Британии. В кабаке на задворках какой-то житель колонии недобрым словом задел Виндзоров, что повело к перебранке, а от нее к разбитым пивным кружкам и общей драке; и шум бросился через дорогу и странно ударил в уши девиц, покупавших белое, в белой мережке белье себе к свадьбе. Волнение, оставленное автомобилем сперва на поверхности, постепенно тем самым проникало в глубины.

Автомобиль же пересек Пиккадилли и свернул на Сент-Джеймс-стрит. Рослые господа, осанистые господа, элегантные господа во фраках и белых галстуках, господа с гладко зачесанными волосами и с трудно определимыми целями стоявшие в оконной нише «Уайтса»[10], поддев сзади хвосты своих фраков и глядя на улицу, угадали душой, что мимо скользит слава Англии, и бледный отблеск бессмертия пал на их лица, как пал он на лицо Клариссы Дэллоуэй. Тотчас они стали еще осанистей, руки опустили по швам, и казалось, вот-вот они бросятся на жерла вражеских пушек во имя своего властелина, как некогда делали предки. Белые бюсты и столики в глубине,

10 Примечания: 10
Старейший лондонский клуб консерваторов.

украшенные номерами «Татлера»[11] и бутылками содовой, их точно подкрепляли и одобряли; точно воплощали колыхание нив и раздолье усадеб; точно отдавали жужжание автомобиля, как отдает звучащая галерея одинокий голос, помножив его на гул всей громады собора. Мисс Мол Прэт, в шали, стоя на панели с цветами, пожелала всего доброго милому мальчику (это же, ясное дело, был принц Уэльский) и даже бросила бы букетик роз на Сент-Джеймс-стрит (а ведь это целая кружка пива!) просто так, от веселости и от презрения к бедности, — если б взор констебля вовремя не унял верноподданного порыва старой ирландки. Часовые Сент-Джеймсского дворца взяли на караул; полицейский у дворца королевы Александры был ими доволен.

Меж тем у ворот Букингемского дворца собралась кучка народа. Все люди бедные, они скучливо, но уверенно ждали; поглядывали на дворец с реющим флагом; на величаво высящуюся Викторию; похваливали ее уступчики и каскады; ее герани; пристально глядя на Мэлл, вдруг изливали чувства на какую-нибудь машину; убедившись, что зря обласкали обывателя

11 Примечания: 11

«Болтун» — сатирически-нравоучительный журнал, издававшийся в 1709–1711 гг. Р.Стилом.

за рулем, тотчас брали излитые чувства назад и копили их, пропуская машины одну за другой без внимания; и все время слухи бродили по жилам и отдавались томлением в чреслах при мысли о том, что на них упадет царственный взор; им кивнет королева; им улыбнется принц; при мысли о дивной жизни, свыше дарованной королям; о конюших, о реверансах; о старинном кукольном домике королевы; о том, что принцесса Мэри — на поди! — вышла за какого-то англичанина, а принц — ах, принц! — он, говорили, вылитый старый король Эдуард, только субтильней. Принц жил в Сент-Джеймсском дворце, но почему б ему утром не наведаться к матери?

Это Сара Блечли говорила, баюкая своего малыша и покачивая ногой, будто она у себя в Пимлико у своей каминной решетки, однако не спуская с Мэлла глаз, а Эмили Коутс окидывала взглядом окна дворца и думала про горничных, сколько их там, горничных, думала про комнаты, сколько их там, комнат. Меж тем толпа увеличилась благодаря одному господину со скотч-терьером и нескольким личностям без определенных занятий. У маленького мистера Боули (сам он обитал в

Олбани[12], душа же его была опечатана сургучом, но вдруг распечатывалась ужасно некстати от подобных вещей; бедные женщины ждут, когда проедет их королева, бедные-бедные женщины, милые детки-сиротки, вдовы, война — ох, уж эта война!) в глазах просто стояли слезы. Теплый ветер, добродушно пройдясь по легким деревьям Мэлла, мимо бронзовых героев, всколыхнул некий флаг в британской груди мистера Боули, и он поднял шляпу, когда автомобиль свернул на Мэлл, и пока автомобиль приближался, он держал ее высоко над головой, и бедные матери Пимлико беспрепятственно жались к нему; он стоял очень прямо. Автомобиль подъезжал.

Вдруг миссис Коутс задрала голову. Вой аэроплана зловеще ввинчивался в уши. Вот аэроплан взмыл над деревьями, и он оставлял позади белый дым, и дым этот вился, клубился, он, ей-богу, что-то писал! Выводил по небу буквы! Все задрали головы.

Вот аэроплан упал вниз, взмыл ввысь, он делал петли, он парил, он взмывал, он падал и все время, все время, все время сзади плоеное кружево дыма свивалось, сплеталось, выводило по небу

---

12 Примечания: 12
Фешенебельный многоквартирный жилой дом на Пиккадилли.

буквы. Но какие же буквы? «Б», что ли?.. А потом «Р»? Всего на секунду они застывали и сразу расплывались, и таяли, и стирались с неба, и аэроплан летел себе дальше и на новом небесном куске уже снова чертил «Б»… и «Р» и «Ю»…

— Крем, — произнесла миссис Коутс благоговейным, пресекшимся голосом, устремив глаза вверх, а малыш у нее на руках, белый и тихий, тоже устремлял глаза вверх.

— Мокко, — пробормотала миссис Блечли, как сомнамбула. Недвижно держа шляпу над головой, мистер Боули смотрел в небо. Вдоль всего Мэлла люди стояли и смотрели в небо. Они смотрели, а весь мир словно замер, и небо перечеркнул лет спугнутых чаек, сперва одна предводительствовала, потом другая, и по этой немыслимой тишине, по бледности и чистоте одиннадцать раз ударили колокола, и звон таял, не долетая до чаек.

Аэроплан кружил, качался, выделывал черт-те что, легко, вольно, как конькобежец…

— Это же «и», — сказала миссис Блечли…

или танцор…

— Это же ириски, — пробормотал мистер Боули… (автомобиль въехал в ворота, но никто на него не взглянул), и выталкивал дым, и несся все

дальше, дальше, и дым таял и стал уже оторочкой белых раскидистых облаков.

Исчез. Скрылся за облаками. Ни звука. Облака, на которых висели буквы Р, О или Ю, плыли и плыли, будто посланные с Запада на Восток с чрезвычайно важным известием, каким — никогда не выяснится, но все равно чрезвычайно важным известием. Потом — вдруг — как поезд вырывается из туннеля, аэроплан выскочил из-за облаков, и снова вой ввинчивался в уши тех, кто стоял на Мэлле, в Грин-Парке, на Пиккадилли, на Риджент-стрит, в Риджентс-Парке, — и сзади вился дым, и аэроплан падал, взмывал и одну за другой выводил буквы — но что за слово он выводил?

Лукреция Уоррен-Смит, сидя рядом с мужем в Риджентс-Парке на Главной аллее, посмотрела вверх.

— Смотри-ка, смотри-ка, Септимус, — вскрикнула она. Доктор Доум ей сказал, чтоб она отвлекала мужа (хоть с ним ничего абсолютно серьезного, просто он немного расклеился), отвлекала внешними впечатлениями.

Ну да, подумал Септимус, глядя вверх, они мне сигналят. Сигналы не выражались в словах, то есть он пока не разбирал языка; но она была

достаточно внятна — красота, божественная красота, — и слезы застилали ему глаза, пока он смотрел, как дымные слова истаивают, и расползаются в сини, и в неизреченной своей благости, по милой своей доброте дарят ему образ за образом немыслимой красоты, и сигналами обещают безвозмездно, навечно — только смотри — снабдить его красотою, еще красотою! Слезы катились у него по щекам.

Да, это ириски. Это реклама ирисок, сказала Реции присевшая рядом няня с ребенком. Они разобрали вместе: «и»… «р»… «и»…

— К… Р… — сказала няня, и Септимус услышал, как у самого уха его «Ка» и «Эр» она вывела низко, нежно, точно спелые органные ноты, но с хрипотцою, точно стрекот кузнечика, который восхитительно отдался в хребте, послал звуковые волны к мозгу, и там они расплескались. Да, удивительное открытие — что человеческий голос в определенных атмосферных условиях (прежде всего надо рассуждать научно, только научно!) может пробуждать к жизни деревья! Слава богу, Реция страшно прижала ему ладонью колено, придавила к скамье, не то бы от того возбуждения, с каким вязы теперь вздымались и опадали, вздымались и опадали, горя всеми листьями сра-

зу, все окатывая то редеющим, то загустевающим цветом от сини до зелени полой волны, будто плюмажи на холках коней, будто перья на шляпках, так гордо, так величаво они вздымались, они опадали, что недолго и спятить. Но не спятит он, дудки. Надо только закрыть глаза. Не смотреть.

Но они кивали; листья были живые; деревья — живые. И листья, тысячей нитей связанные с его собственным телом, овевали его, овевали, и стоило распрямиться ветке, он тотчас с ней соглашался. Воробьи, вздымаясь и опадая фонтанчиками, дополняли рисунок — белый, синий, расчерченный ветками. Звуки выстраивались в рассчитанной гармонии; и паузы падали с такой же весомостью. Плакал ребенок. Явственно в отдалении звенел рожок. Все вместе взятое означало рождение новой религии…

— Септимус! — сказала Реция. Он страшно вздрогнул. Как бы люди не заметили. — Я до фонтана и обратно, — сказала она.

Больше она не могла терпеть. Хорошо доктору Доуму говорить, что с ним ничего серьезного. Уж лучше б он умер! Невозможно сидеть с ним рядом, когда он смотрит вот так и не видит ее, и все он делает страшным — деревья, и небо, и детишек, которые катают тележки, свистят в свистульки

и шлепаются — все, все из-за него страшно. И не покончит он с собой; и никому ведь не скажешь: «Септимус слишком много работал, он устал» — и больше ничего ведь не скажешь, даже своей родной матери. Когда любишь — делаешься такой одинокой, думала она. И никому ведь не скажешь, теперь не скажешь и Септимусу, и, оглянувшись, она увидела, как он сидит — скорчился, в своем потрепанном пальтеце, смотрит. Просто трусость, когда мужчина говорит, что покончит с собой, но ведь Септимус воевал; он был храбрый; а это разве Септимус? Она кружевной воротничок надела, она надела новую шляпку, а этот и не заметил; ему без нее хорошо. Ей без него никогда не может быть хорошо! Никогда! Эгоист. Все мужчины такие. И вовсе он не болен. Доктор Доум говорит: у него ничего абсолютно серьезного. Она протянула и разглядывала свою руку. Вот! Обручальное кольцо чуть не свалилось — до того она похудела. Ей — вот кому плохо. И никому ведь не скажешь.

Далеко осталась Италия, белые дома и комната, где они с сестрами делали шляпки, и шумные улицы, где каждый вечер толпится народ и гуляют, смеются, не то что эти калеки на колесиках, которые пялятся на противные, растыканные по

горшочкам цветы.

— Посмотрели б, какие сады в Милане! — сказала она громко. Кому?

Никого же нет. И слова загасли. Так гаснет ракета; искры чуть поцарапают ночной свод и сдаются тьме, и тьма опускается, проливается на очертания домов и башен; в ней затихают и тонут бледные, печальные скаты. Но вот они все исчезли, а ночь по-прежнему ими полна; утратив краски, растеряв окна, они тем настойчивей существуют и выдают ночи то, чего ни за что не понять простодушной открытости дня: тревогу и страхи вещей, собравшихся во тьме, теснящихся во тьме, томящихся по той радости, которую приносит рассвет, когда моет белым и серым стены, метит каждую оконницу, поднимает с пастбищ туман и обнаруживает на них мирное рыжее стадо; и все сызнова себя дарит глазам; сызнова существует. «Я одна, одна!» — крикнула она фонтану Риджентс-Парка (глядя на индейца и его крест); наверно, как в полночь, когда заблудились вехи и земля принимает древний свой облик, в каком видели ее, высадясь, римляне: туманная, и горы еще безымянны, и реки петляют неведомо где — такая была тьма и в душе у Реции; и вдруг, будто она стояла на доске, и оттолкнулась, и

доска подпрыгнула — она сказала себе, что она его жена, они давно поженились в Милане, и никогда, никогда она никому не скажет, будто он сумасшедший! Доска подпрыгнула, а она стала падать, вниз, вниз. Он ушел, подумала она, ушел, как грозился, — он покончит с собой, бросится под грузовик! Но нет; вот он; сидит, один, в своем потрепанном пальтеце, скрестил ноги, смотрит, говорит вслух.

Люди не смеют рубить деревья! Бог есть. (Свои откровения он записывал на обороте конвертов.) Изменить мир. Никто не убивает из ненависти. Да будет известно (он и это записал). Он обождал. Вслушался. Воробушек с ограды напротив прочирикал: «Септимус. Септимус» раз пять и пошел выводить и петь — звонко, пронзительно, по-гречески о том, что преступления нет, и вступил другой воробушек, и на длящихся пронзительных нотах, по-гречески, они вместе, оттуда, с деревьев на лугу жизни за рекою, где бродят мертвые, пели, что смерти нет.

Вот — мертвые совсем рядом. Какие-то белые толпились за оградой напротив. Он боялся смотреть. Эванс был за оградой!

— Ты что говоришь? — вдруг спросила Реция и села рядом.

Опять перебила! Вечно она мешает.

— Подальше от людей — надо скорей уйти подальше от людей, — так он сказал (и вскочил). Надо было уйти туда, где под деревом стояли стульчики, и парк плыл длинной зеленой полосой под синеющим куполом с дымным розовым пятном посредине, а вдали неровным валом в дыму горели дома, и вился шум улицы, а направо бурые звери тянули долгие шеи над оградою зоологического сада и тявкали, выли. Там и сели, под деревом.

— Погляди, — молила она, показывая на группку мальчишек, они шли с крикетными битами, и один все шаркал, и вертелся на каблуке, и шаркал, будто клоуна изображал в мюзик-холле.

— Погляди, — молила она, потому что доктор Доум ей сказал, чтоб отвлекала его внешними впечатлениями, водила в мюзик-холл, посылала играть в крикет — это прекрасная игра, говорил доктор Доум, игра на свежем воздухе, игра в самый раз для ее мужа.

— Погляди, — повторяла она.

Погляди, взывало к нему невидимое через посредство этого голоса, к нему, величайшему из людей, Септимусу, недавно взятому из жизни в смерть, к Господу, пришедшему обновить

человечество и легшему на все, как покров, как снежный покров, подвластный лишь солнцу, к неизбывному страдальцу, козлу отпущения, страстотерпцу, но не надо, нет, нет — и он отпихнул рукою вечное страдание, вечное одиночество.

— Погляди же! — повторяла она, чтобы он не говорил сам с собою на людях.

— Погляди же! — молила она. Но на что тут было глядеть? Только овцы одни. Вот и все.

Как пройти к метро «Риджентс-Парк»? Не могут ли они ей сказать, как пройти к метро «Риджентс-Парк», хотела знать Мейзи Джонсон. Она только позавчера из Эдинбурга приехала.

— Нет, нет, не так — вон туда! — крикнула Реция, оттесняя ее в сторону, чтоб не видела Септимуса.

Оба странные, подумала Мейзи Джонсон. Все тут было ужасно странно. В Лондоне она была первый раз, приехала служить в конторе у своего дяди на Леденхолл-стрит и пошла утром по Риджентс-Парку, и эти двое на стульчиках прямо ее напугали: женщина, видимо, иностранка, он — не в себе; и, доживи она даже до старости, все равно ее память будет звенеть о том, как она шла в одно прекрасное утро по Риджентс-Парку пятьдесят лет назад. Ведь ей исполнилось всего девятна-

дцать, и наконец-то она дорвалась до Лондона; но как удивили ее эти двое, у которых она спросила дорогу, как девушка вскочила, как махала рукой, а он — ужасно странный какой-то: наверно, поссорились; навек решили расстаться; да, что-то у них определенно стряслось; ну, а это все (она опять вышла на Главную аллею): каменные чаши, выстроившиеся цветы, старики и старухи, большей частью калеки, в креслицах — все это тоже после Эдинбурга было странно. И присоединясь к тихо плетущейся, пусто поглядывающей, обласканной ветром компании — чистились на ветках белочки, бились, порхали за крошками воробьиные фонтанчики, псы изучали ограду, изучали друг друга, а нежный, теплый ветер всех овевал и оставлял в пристальных, неудивленных глазах, какими они принимали жизнь, что-то нелепое и отрешенное, — Мейзи Джонсон чуть не крикнула «ох!» (тот молодой человек всерьез напугал ее; она поняла — определенно там что-то стряслось).

Мейзи хотелось кричать: «Ужас! Ужас!» (Вот уехала от своих; ведь говорили же ей, предупреждали.)

Зачем она не осталась дома! И Мейзи заплакала, ухватясь за железную шишечку.

Девчонка, думала миссис Демпстер (которая сберегала крошки для белок и часто завтракала в Риджентс-Парке), пока не знает, что к чему; да, оно лучше — быть покрепче, и не суетиться, и не ждать от жизни уж чересчур много. Перси пьет. А все равно лучше сына иметь, думала миссис Демпстер. Ей несладко пришлось, и ей было просто смешно глядеть на эту девчонку. Ладно, вот выйдешь замуж. Ты из себя-то ничего, думала миссис Демпстер. Выйдешь замуж, тогда и узнаешь. Стряпня, то да се. У каждого мужика своя повадка. Знать бы все заранее — я б согласилась, а? — думала миссис Демпстер, и ей очень хотелось шепнуть кое-что Мейзи Джонсон и почувствовать на изношенном, старом лице поцелуй; чтоб ее поцеловали. Из жалости. Да, тяжелая была жизнь, думала миссис Демпстер. Чего только не отняла. Радость; внешность и ноги. (Она подтянула под юбку культи.)

Внешность, думала она горько. Все дребедень, моя милочка. Есть, да пить, да вместе спать в добрые и черные дни; тут не до внешности; но если желаешь знать, Кэрри Демпстер ни за что бы не поменялась ни с кем, ни за какие коврижки. Ей только хотелось, чтоб ее пожалели. Пожалели за то, что все миновало. Чтоб Мейзи Джонсон ее

пожалела, которая стояла возле клумбы с цветочками.

Ах да — аэроплан! Миссис Демпстер всегда хотелось увидеть дальние страны. У нее был племянник-миссионер. (Аэроплан бог знает чего выделывал, кувыркался.) Она всегда далеко заплывала в Маргейте, конечно, не так чтоб совсем не видно с берега, но она не терпела женщин, которые воды боятся. Он мчался и падал. У нее прямо дух захватило. Опять вверх! Там прекрасный парень сидел, миссис Демпстер об заклад была готова побиться, и все дальше, дальше летел аэроплан, летел и таял — все дальше, дальше; проплыл над Гринвичем, над всеми мачтами; над островком серых церквей, святого Павла и прочих, туда, где за Лондоном лежат поля, и темные стоят леса, и дрозд-ловкач прыгает дерзко, глядит зорко и — хвать улитку об камень — раз-два-три!

Все дальше, дальше летел аэроплан, пока не стал яркой искоркой; стремлением; сутью; символом (как представлялось мистеру Бентли, который вовсю трудился у себя в Гринвиче, подстригал машинкой газон) души человеческой; ее вечного стремления, думал мистер Бентли, топчась вокруг кедра, вырваться за пределы тела, своего обиталища, с помощью мысли

— Эйнштейн, теории, математика, законы Менделя, — аэроплан же летел и летел.

И пока жалкий, болезненного вида человек с кожаной сумкой мешкал на ступенях святого Павла и размышлял, не войти ли ему, ибо в соборе ждала его благодать и гробницы, знамена, знаки побед не над армиями, он размышлял, но над тем несчастным духом правдолюбия, из-за которого я дошел до такой жизни, он размышлял, и вдобавок собор предлагает компанию, зовет присоединиться к сообществу; к нему же принадлежат великие мужи; ради него принимали смерть мученики; почему б не войти, он размышлял, не поставить набитую листовками сумку подле алтаря, подле креста, подле символа того, что взмыло над поисками, над вопросами, над толчением слов и стало чистым духом, бестелесным, высоким, — почему б не войти? — и пока он так мешкал, аэроплан пролетел над Ладгейт-серкэс.

Странно; тихо он летел. Ни один звук не взвивался над гудением улицы. Будто неуправляемый лет, будто аэроплан сам летел куда вздумается. И вот — вверх, вверх, прямо вверх, как в восторге, как в забытьи, вверх потек белый дым, клубясь, выводя «И», «Р», «И».

— И на что они смотрят? — сказала Кларисса

Дэллоуэй отворившей дверь горничной.

В холле была прохлада склепа. Она подняла ладонь к глазам, горничная затворила дверь, и под шум юбок своей Люси миссис Дэллоуэй вступила в дом, как отрекшаяся от мира монахиня вступает под своды монастыря и вновь ощущает привычные складки покрова и молитвенный дух. На кухне насвистывала кухарка. Стучала пишущая машинка. Это была ее жизнь, и, склонясь к столику в холле, она будто сразу утешилась и очистилась, и, нагибаясь к блокноту, куда заносилось, кто и с чем звонил, она говорила себе, что такие минуты — почки на дереве жизни, это цветение тьмы (будто только ради ее глаз расцвела сейчас сказочной красоты роза); нет, в Бога она, конечно, совершенно не верила; но тем более, думала она, берясь за блокнот, нужно платить благодарностью слугам, да и собакам, и канарейкам, ну, а главное, мужу, Ричарду, он основа, на которой все это держится — веселые звуки, зеленые отблески и свист кухарки (миссис Уокер была ирландка и свистела на кухне деньденьской), нужно, нужно платить из тайного вклада драгоценных минут, думала она, поднимая блокнот со столика, покуда Люси, стоя рядом, пыталась ей втолковать, объяснить, что:

— Мистер Дэллоуэй, мэм…

Кларисса читала в блокноте:

«Леди Брутн хотела бы знать, будет ли мистер Дэллоуэй сегодня завтракать с нею».

— …Мистер Дэллоуэй, мэм, просил вам передать, что он сегодня не будет завтракать дома.

— Ах так! — сказала Кларисса, и Люси, кажется, разделила ее разочарование (но не муку); ощутила их сродство; поняла намек; подумала про то, как они любят, эти господа; решила, что сама она ни за что не будет страдать; и, приняв из рук миссис Дэллоуэй зонтик, как священный меч, оброненный богиней на славном поле битвы, торжественно отнесла к подставке.

— Не страшись, — сказала себе Кларисса. — Злого зноя не страшись. — Ибо леди Брутн пригласила Ричарда на ленч без нее, и от этого удара сбилась и дрогнула драгоценная минута, как дрожит от удара лодочного весла куст на дне; и сама Кларисса сбилась; она дрогнула.

Милисент Брутн, славившаяся своими увлекательными ленчами, ее не пригласила. Грубой ревности не поссорить ее с Ричардом. Но она страшилась самого времени, и на лице леди Брутн, будто на высеченном по бесчувственному камню циферблате, она читала, что истекает жизнь;

что с каждым годом отсекается от нее доля; что остаточная часть теряет способность растягиваться и втягивать цвета и вкус и тоны бытия, как бывало в юности, когда она, входя, наполняла собою комнату и замирала на пороге, будто она — пловец перед броском, а море внизу темнеет, и оно светлеет, и волны грозят развернуть пучину, но только нежно пушатся по гребешкам и катят, и тают, и жемчугом брызг одевают водоросли.

Она положила блокнот на столик. И побрела вверх по лестнице, забыв руку на перилах, будто она только что ушла с приема, где друзья по очереди зеркалом отражали ее лицо и эхом голос, и вот она затворила за собою дверь и осталась один на один со страшной ночью или, если уж на то пошло, под пронизывающим взглядом равнодушно суетливого июньского утра, которое для других держало нежный накал роз, да, для других, для других; она это чувствовала, замерев на лестнице у распахнутого окна, куда неслись хлопки штор и собачий лай; и пока сама она ощущала себя сморщенной, старой, безгрудой, несся гул, дребезжание и цветение утра — оттуда, с воли, не про нее, вне ее тела и рассудка, очевидно, никуда не годного, раз леди Брутн, славившаяся своими увлекательными ленчами, ее не пригласила.

Как уходящая от мира монахиня, как девочка, исследующая башню, она поднялась по лестнице, постояла у окна, вошла в ванную. Здесь был зеленый линолеум и тек кран. Посреди кипения жизни здесь была пустынность; был чердак. Женщинам приходится снимать с себя уборы; в полдень им надо разоблачаться. Она пронзила шляпной булавкой подушечку и положила свою желтоперую шляпку на кровать. Простыня, тугая и чистая, несмятой белой полосой тянулась от края к краю. Все уже и уже будет ее кровать. Свеча обгорела до половины, и она почти кончила мемуары барона Марбо[13]. Вчера допоздна читала об их отступлении из Москвы. Парламент заседал страшно долго, и Ричард уговорил ее после болезни спать тут, чтоб ее не тревожить. А ей ведь и в самом деле больше нравилось читать об отступлении из Москвы. И он это понял. И вот у нее комната на чердаке; узкая кровать; и, читая тут допоздна, перебарывая бессонницу, она не могла рассеять девства, выстоявшего роды и прилепившегося к телу, как простыня. Привлекши Ричарда обаянием, потом она вдруг обманывала его надежды, пойдя на поводу у этого холодно-

13 Примечания: 13
Марбо Антуан Марселей (1782–1854) — французский генерал.

го духа — тогда, например, на реке, в роще под Кливлендом. И потом еще в Константинополе, и еще, и еще. Она понимала, чего ей не хватает. Дело не в красоте. И не в уме. А в том главном, глубинном, теплом, что пробивается на поверхность и рябит гладь холодных встреч мужчины и женщины. Или женщин между собою. Ведь бывает и так. Правда, тут что-то другое, не совсем понятное и ненужное ей, от этого ее защищала природа (которая всегда права); но когда какая-нибудь женщина, не девочка, а именно женщина ей изливалась, что-то ей говорила, часто даже какие-то глупости, она вдруг подпадала под ее прелесть. Из-за сочувствия, что ли, или из-за ее красоты, или потому, что сама она старше, или просто из-за случайности — дальний какой-нибудь запах, скрипка за стеной (поразительно как иногда действуют звуки), но вдруг она понимала, что, наверное, чувствовал бы мужчина. Только на миг; но и того довольно; это было откровение, внезапное, будто краснеешь, и хочешь это скрыть, и видишь, что нельзя, и всей волей отдаешься позору, и уже не помнишь себя, и тут-то мир тебя настигает, поражает значительностью, давит восторгом, который вдруг прорывается и невыразимо облегчает все твои ссадины и раны.

Это как озарение; как вспышка спички в крокусе; все самое скрытое освещалось; но вот опять близкое делалось дальним; понятное — непонятным. И уже он пролетал, тот миг. В полном несогласии с теми мигами — узкая кровать (вот она положила на нее шляпку), и барон Марбо, и обгорелая свеча. Часто она лежит без сна под скрип половиц, и вдруг потухает освещенный дом, и, подняв голову, она слышит, как Ричард долго-долго, чтоб не стукнула, закрывает дверь, пробирается по лестнице в носках, но бухает грелку и чертыхается! Как же ей всегда бывает смешно!

Да, так насчет любви (думала она, убирая плащ), насчет влюбленности в подруг. Например, Салли Сетон; ее отношение к Салли Сетон когда-то. Что же это еще, если не любовь?

Она сидела на полу — это было ее первое впечатление от Салли, — сидела на полу, обняв колени, и курила. Но где же? У Мэннингов? Или у Кинлох-Джонсов? Во всяком случае, где-то в гостях (только забыла где), потому что, совершенно же точно, она спросила у кого-то, с кем разговаривала: «А это кто?» И он сказал, и сказал, что родители Салли не ладят (она еще содрогнулась в душе: родители — и вдруг ссорятся!). Но весь вечер она не могла оторвать глаз от Салли. Салли

была красавица, и того удивительного типа, какой больше всего нравился Клариссе — темная, большеглазая, — и была черточка в этом лице, которой, сама ею не обладая, особенно Кларисса завидовала — какая-то самозабвенность, будто она что угодно может сказать, что угодно выкинуть; свойство, более частое в иностранках, чем в английских женщинах. Салли всегда говорила, что у нее в жилах течет французская кровь, предок был при дворе у Марии-Антуанетты, кончил на эшафоте, еще оставил какой-то перстень с рубином. Да, и тем же летом, кажется, она вдруг ни с того ни с сего, на ночь глядя нагрянула в Бортон без гроша в кармане и до того переполошила бедную тетю Елену, что та потом так ее и не простила. Дома у нее, оказывается, разыгрался скандал, чудовищный. Она нагрянула к ним положительно без гроша в кармане, заложив брошку, чтоб добраться. Выбежала из дому сама не своя. Они болтали по ночам до утра. Если б не Салли, она б еще долго не знала, как она оторвана от жизни в своем Бортоне. Она была совершенная невежда, что касается пола, социальных проблем. Своими глазами она видела, как упал замертво косарь на лугу, видела только что отелившихся коров. Но тетя Елена не допускала рассуждений

ни на какие темы. (Когда Салли дала ей Уильяма Морриса[14], его пришлось обернуть бумагой.) И они сидели вдвоем у нее в спальне, в мансарде, сидели часами и говорили о жизни, говорили о том, как они переделают мир. Они собирались основать общество по борьбе с частной собственностью, даже в самом деле письмо сочинили какое-то, только не отослали. Конечно, все это Салли, но она и сама скоро зажглась, читала Платона в постели до завтрака; читала Морриса и Шелли тоже читала.

И что за поразительная сила — одаренности, личности. Какие чудеса, например, вытворяла Салли с цветами. В Бортоне вдоль всего стола всегда вытягивались в ряд чопорные, узкие вазочки. Салли отправлялась в сад, охапками рвала штокрозы, далии, — наобум сочетая никогда не виданные вместе цветы, — срезала головки и пускала плавать в широких чашах. И это просто ошеломляло — особенно на закате, когда входишь ужинать. (Тетя Елена считала, конечно, что непозволительно так дурно обращаться с цветами.) А потом она как-то забыла губку и голая пронеслась по коридору. Старуха горничная, эта

14 Примечания: 14

(1834–1896) — английский художник, писатель, теоретик искусства и общественный деятель.

злющая Эллен Аткинс, потом весь день ворчала: «Вдруг бы кто из молодых людей увидел…» Да, она многих возмущала. Папа говорил: неряха.

Странно, ведь вот как вспомнишь, в отношении к Салли была особенная чистота, цельность. К мужчинам так не относишься. Совершенно бескорыстное чувство, и оно может связывать только женщин, только едва ставших взрослыми женщин. А с ее стороны было еще и желание защитить; оно шло от сознания общей судьбы, от предчувствия чего-то, что их разлучит (о замужестве говорилось всегда как о бедствии), и оттого эта рыцарственность, желание охранить, защитить, которого с ее стороны было куда больше, чем у Салли. Потому что та была просто отчаянная, вытворяла бог знает что, каталась на велосипеде по парапету террасы, курила сигары. Невозможная, просто невозможная. Но зато ведь и обаяние само, во всяком случае в глазах Клариссы; раз как-то, она запомнила, у себя в спальне, в мансарде, прижимая грелку к груди, она стояла и вслух говорила: «Она здесь, под этой крышей! Она под этой крышей!»

Нет, сейчас эти слова — пустой звук. Даже тени былых чувств не могли они вызвать. Но она же помнит, как холодела она от волнения, в каком-то

восторге расчесывая волосы (вот к ней и начало возвращаться то, прежнее, покуда она вынимала шпильки, выкладывала на туалетный столик, стала расчесывать волосы), а красный закат зигзагами расчерчивали грачи, и она одевалась, спускалась по лестнице, и, пересекая холл, она тогда думала: «О, если б мог сейчас я умереть! Счастливее я никогда не буду»[15]. Это было ее чувство — чувство Отелло, и она, конечно, ощущала его так же сильно, как Отелло у Шекспира, и все оттого, что она спускалась, в белом платье, ужинать вместе с Салли Сетон.

Она была в красном, газовом — или нет? Во всяком случае, она горела, светилась вся, будто птица, будто пух цветочный влетел в столовую, приманясь куманикой, и дрожит, повиснув в шипах. Но самое удивительное при влюбленности (а это была влюбленность, ведь верно?) — совершенное безразличие к окружающим. Куда-то уплывала из-за стола тетя Елена. Читал газету папа. Питер Уолш тоже, наверное, был, и старая мисс Каммингс; был и Йозеф Брайткопф, был, конечно, бедный старикан, он приезжал каждое лето и гостил неделями, якобы чтоб читать с

15 Примечания: 15
Шекспир, «Отелло».

ней немецкие тексты, а сам играл на рояле и пел песни Брамса совершенно без голоса.

Все это составляло лишь фон для Салли. Она стояла у камина и чудесным своим голосом, каждое произносимое слово обращающим в ласку, говорила с папой, таявшим против воли (он так и не сумел простить ей книжку, которую она взяла почитать и забыла под дождем на террасе), а потом вдруг сказала: «Ну можно ли сидеть в духоте!» — и все вышли на террасу, стали бродить по саду туда-сюда. Питер Уолш и Йозеф Брайткопф продолжали спорить о Вагнере. Они с Салли дали им отойти. И тогда была та самая благословенная в ее жизни минута подле каменной урны с цветами. Салли остановилась: сорвала цветок; поцеловала ее в губы. Будто мир перевернулся! Все исчезли; она была с Салли одна. Ей как будто вручили подарок, бережно завернутый подарок, и велели хранить, не разглядывать — алмаз, словом, что-то бесценное, но завернутое, и пока они бродили (туда-сюда, туда-сюда), она его раскрыла, или это сияние само прожгло обертку, стало откровением, набожным чувством! И тут старый Йозеф и Питер повернули прямо на них.

— Звездами любуетесь? — сказал Питер.

Она как с разбегу впотьмах ударилась лицом о

гранитную стену. Ох, это было ужасно!

И дело не в ней самой. Просто она почувствовала, что он уже придирается к Салли; его враждебность и ревность; желание вмешаться в их дружбу. Она увидела это все, как видишь во вспышке молнии лес, а Салли (никогда она так ею не восхищалась) невозмутимо прошла дальше. Она смеялась. Она попросила старого Йозефа объяснить названия звезд, а тот всегда объяснял это с удовольствием и очень серьезно. А она стояла рядом. И слушала. Она слышала названия звезд.

— Ужасно! — говорила она про себя, и ведь она как знала, как знала заранее, что счастливой минуте что-нибудь да помешает.

Зато скольким она потом была Питеру Уолшу обязана. И отчего это, как подумает о нем, ей всегда вспоминаются ссоры? Чересчур, значит, дорого его хорошее мнение. Она взяла у него слова: «сентиментальный», «цивилизованный». Они и сейчас то и дело всплывают, будто Питер тут как тут. Сентиментальная книга. Сентиментальное отношение к жизни. Вот и сама она, наверное, сентиментальная: размечталась о том, что давным-давно прошло. Интересно, что-то он подумает, когда вернется?

Что она постарела? Сам скажет или она прочтет

у него по глазам, что она постарела? Действительно. После болезни она стала почти седая.

Она положила брошку на стол, и вдруг ей перехватило горло, будто воспользовались ее задумчивостью и сжали его только и ждавшие случая ледяные когти. Нет, она еще не старая. Она только вступила в свой пятьдесят второй год, впереди пока целехонькие месяцы. Июнь, июль, август! Все еще почти непочатые, и, словно спеша поймать на ладонь падающую каплю, Кларисса окунулась (перейдя к туалетному столику) в самую гущу происходящего, вся отдалась минуте — минуте июньского утра, вобравшего отпечатки уж стольких утр, и увидела, будто сызнова и впервые, как зеркало, туалетный столик, флакончики отражают всю ее под одним углом (перед зеркалом), увидела тонкое, розовое лицо женщины, у которой сегодня прием; лицо Клариссы Дэллоуэй; свое собственное лицо.

Сколько тысяч раз видела она уже это лицо, и всегда чуть-чуть натянутое! Глядя в зеркало, она поджимала губы. Придавая лицу законченность. Это она — но законченная; заостренная, как стрела; целеустремленная. Это она, когда некий сигнал заставляет ее быть собою и стягиваются все части, и лишь ей одной ведомо, до чего

они разные, несовместимые, — стягиваются и создают для посторонних глаз одно, тот единый, сверкающий образ, в каком она входит в свою гостиную, — для кого-то свет в окне, светлый луч, без сомнения, на чьем-то безрадостном небе, для кого-то, возможно, якорь спасения от одиночества; она кое-кому из молодых сумела помочь, те ей благодарны; и она всегда старается быть одинаковой, и не дай бог, чтобы кто догадался обо всем остальном — слабостях, ревности, суетности, мелких обидах, из-за того, например, что леди Брутн не пригласила ее на ленч, что, конечно (думала она, проводя гребнем по волосам), не лезет ни в какие ворота. Да, так где ж это платье?

Вечерние платья висели в шкафу. Запустив руку в их воздушную мягкость, Кларисса осторожно выудила зеленое и понесла к окну. Она его разорвала на приеме в посольстве. Кто-то наступил на подол. Она чувствовала, как треснуло сверху, под складками. Зеленый шелк весь сиял под искусственным светом, а теперь, на солнце, поблек. Надо его починить. Самой. Девушки и так сбились с ног. Надо его сегодня надеть. Взять нитки, ножницы, и что? — ах, ну да, наперсток, конечно, — взять в гостиную, потому что ведь надо еще кое-что написать, присмотреть, как там

у них идет дело.

Странно, думала она, остановясь на площадке и входя в тот единый, сверкающий образ, странно, как хозяйка знает свой дом! Спиралью вились по лестничному пролету смутные звуки; свист швабры; звяканье; звон; гул отворяемой парадной двери; голос, перекидывающий кверху брошенный снизу приказ; стук серебра на подносе; серебро начищено для приема. Все для приема.

(А Люси, внеся поднос в гостиную, ставила гигантские подсвечники на камин, серебряную шкатулку — посередине, хрустального дельфина поворачивала к часам. Придут; встанут; будут говорить, растягивая слова, — она тоже так научилась. Дамы и господа. Но ее хозяйка из всех была самая красивая — хозяйка серебра, полотна и фарфора, — потому что солнце, и серебро, и снятые с петель двери, и посыльные от Рампльмайера вызывали в душе Люси, покуда она устраивала разрезальный нож на инкрустированном столике, ощущение совершенства. Глядите-ка! Вот! — сказала она, обращаясь к подружкам из той булочной в Кейтреме, где она проходила свою первую службу, и кинула взглядом по зеркалу. Она была леди Анжелой,

придворной дамой принцессы Мэри, когда в гостиную вошла миссис Дэллоуэй.)

— А, Люси! — сказала она. — Как чудесно блестит серебро!

— А как, — сказала она, поворачивая хрустального дельфина, чтобы он опять стоял прямо, — как было вчера в театре?

— О, тем-то пришлось до конца уйти, — сказала она, — им уже к десяти надо было обратно! — сказала она. — Так и не знают, чем кончилось, — сказала она. — В самом деле, неприятно, — сказала она (ее-то слуги всегда могли задержаться, если отпросятся). — Просто ни на что не похоже, — сказала она, и, сдернув с дивана старую, неприличного вида подушку, она сунула ее Люси в руки, слегка подтолкнула ее и крикнула:

— Заберите! Отдайте миссис Уокер! Подарите от меня! Заберите!

И Люси остановилась в дверях гостиной, обнимая подушку, и спросила застенчиво, чуть покраснев: не помочь ли ей с платьем?

Нет-нет, сказала миссис Дэллоуэй, у нее ведь и так работы хватает, и без платья у нее вполне хватает работы.

— Спасибо, спасибо, Люси, — сказала миссис Дэллоуэй, и она повторяла: «спасибо, спасибо

(сидя на диване, разложив нитки, ножницы, разложив на коленях платье), спасибо, спасибо», повторяла она, благодарная всем своим слугам за то, что помогают ей быть такой — такой, как ей хочется, благородной, великодушной. Они ее любят. Да, ну вот, теперь, значит, платье — где тут разорвано? Главное, вдеть нитку в иголку. Платье было любимое, от Салли Паркер, чуть не последнее от нее, потому что ведь Салли, увы, не работает больше, живет теперь в Илинге, и если у меня когда-нибудь выдастся минутка свободная, решила Кларисса (но откуда, откуда возьмется эта минутка?), я навещу ее в Илинге. Да, это личность и художница настоящая. Всегда сочинит что-то такое — где-то, чуть-чуть. Зато уж ее платья можно смело куда угодно надеть. Хоть в Хатфилд, хоть в Букингемский дворец. Она надевала их в Хатфилд; и в Букингемский дворец.

И тишина нашла на нее, покой и довольство, покуда иголка, нежно проводя нитку, собрала воедино зеленые складки и бережно, легонько укрепляла у пояса. Так собираются летние волны, взбухают и опадают; собираются — опадают; и мир вокруг будто говорит: «Вот и все», звучней, звучней, мощней, и уже даже в том, кто лежит на песке под солнцем, сердце твердит: «Вот и

все». «Не страшись», — твердит это сердце. «Не страшись», — твердит сердце, предав свою ношу какому-то морю, которое плачет, вздыхает, вздыхает о всех печалях на свете, снова, снова, ну вот, собирается, опадает. И только лежащий теперь уже слышит, как жужжит, пролетая, пчела; как разбилась волна; как лает собака; лает где-то вдали и лает.

— Господи, звонят! — вскрикнула Кларисса и остановила иголку. И тревожно прислушалась.

— Миссис Дэллоуэй меня примет, — сказал пожилой господин в холле. — Да, да, она меня примет, — повторил он очень добродушно, отстраняя Люси и быстро взбегая по лестнице. — Да-да-да, — бормотал он на бегу. — Примет, примет. После пяти лет в Индии Кларисса меня примет.

— Да кто же это… да что же это… — недоумевала миссис Дэллоуэй (ну, не наглость ли — врываться в одиннадцать утра, когда у нее сегодня прием?), слыша шаги на лестнице. Уже взялись за дверную ручку. Она заметалась — прятать платье, блюдя секреты уединения, как девственница — свое целомудрие. Уже повернулась дверная ручка. Дверь отворилась и вошел… на секунду у нее даже вылетело из головы имя, до того она удивилась,

обрадовалась, смутилась, растерялась, потому что Питер Уолш вдруг ввалился с утра! (Она не читала его письма.)

— Ну как ты? — спрашивал Питер Уолш, буквально дрожа; беря обе ее руки в свои, целуя у нее обе руки.

Она постарела, думал он, садясь, не стану ей ничего говорить, думал он, но она постарела. Разглядывает меня, подумал он, и вдруг он смешался, вопреки этому целованию рук. Он сунул руку в карман, он достал оттуда большой перочинный нож и приоткрыл лезвие.

Все тот же, думала Кларисса, тот же взгляд странноватый; тот же костюм в клеточку; чуть-чуть что-то не то с лицом, похудело или подсохло, пожалуй, а вообще он изумительно выглядит и все тот же.

— Как чудесно, что ты тут! — сказала она. И нож вытащил, она подумала. Старые штучки.

Он сказал, что только вчера вечером приехал. И придется, видимо, сразу же ехать за город. Но как дела, как все — Ричард? Элизабет?

— А это по какому поводу? — И он ткнул ножом в сторону зеленого платья.

Он прелестно одет, думала Кларисса. А меня критикует вечно.

Сидит и чинит платье. Вечно она чинит платья, думал он. Так и сидела все время, пока я был в Индии; чинила платья. Развлечения. Приемы. Парламент, то да се, думал он и все больше раздражался, все больше волновался, ибо ничего нет на свете хуже для иных женщин, чем брак, думал он. И политика, и муж-консерватор, вроде нашего безупречного Ричарда. Вот так-то, он думал. Так-то. И, щелкнув, он закрыл нож.

— Ричард — чудесно. Ричард в комитете, — сказала Кларисса.

И она раскрыла ножницы и спросила: ничего, если она кончит тут с платьем, потому что у них сегодня прием?

— На который я тебя не приглашу, — она сказала, — мой милый Питер! — она сказала.

Но как чудно хорошо она сказала «мой милый Питер»! Да, да, все было чудно хорошо — серебро, стулья. Все, все чудно хорошо! Он спросил, почему она не пригласит его на прием.

Да, думала Кларисса. Он очарователен! Просто очарователен! Да, я помню, как немыслимо трудно было решиться — и почему я решилась? — не пойти за него замуж в то ужасное лето!

— Но ведь поразительно, что ты именно сегодня приехал! — вскрикнула она, ладонь на ладонь

складывая руки на платье.

— А помнишь, — спросила она, — как хлопали в Бортоне шторы?

— Да уж, — сказал он и вспомнил унылые завтраки с глазу на глаз с ее отцом; тот умер; и он тогда не написал Клариссе. Правда, он не ладил со старым Парри, сварливым, шаркающим стариканом, Клариссиным отцом Джастином Парри.

— Я часто жалею, что не ладил с твоим отцом, — сказал он.

— Но он всегда недолюбливал тех, кто, ну... наших друзей, — сказала Кларисса и язык готова была себе откусить за то, что таким образом напомнила Питеру, что он хотел на ней жениться.

Конечно, хотел, думал Питер. Я тогда чуть не умер с горя.

И печаль нашла на него, взошла, как лунный лик, когда смотришь с террасы, прекрасный и мертвенный в последних отблесках дня.

Никогда я не был так несчастлив, думал он. И, будто и в самом деле он сидит на террасе, он слегка наклонился к Клариссе; вытянул руку; поднял; уронил. Он висел над ними — тот лунный лик. И Кларисса тоже словно сейчас сидела вместе с ним на террасе, в лунном свете.

— Там теперь Герберт хозяин, — сказала она. —

Я туда не езжу, — сказала она.

И в точности, как бывает на террасе, в лунном свете, когда одному уже скучновато и неловко от этого, но другой, пригорюнясь, молчит и разглядывает луну, а потому остается молчать и ему, и он ерзает, откашливается, упирается взглядом в завиток на ножке стола, шуршит сухим листом и ни слова не произносит, — так теперь и Питер Уолш.

И зачем ворошить прошлое, думал он, зачем заставлять его снова страдать, не довольно ль с него тех чудовищных мук. Зачем же?

— А помнишь озеро? — спросила она, и голос у нее пресекся от чувства, из-за которого вдруг невпопад стукнуло сердце, перехватило горло и свело губы, когда она сказала «озеро». Ибо — сразу — она, девчонкой, бросала уткам хлебные крошки, стоя рядом с родителями, и взрослой женщиной шла к ним по берегу, шла и шла и несла на руках свою жизнь, и чем ближе к ним, эта жизнь разрасталась в руках, разбухала, пока не стала всей жизнью, целой жизнью, и тогда она ее сложила к их ногам и сказала: «Вот что я из нее сделала, вот!» А что она сделала? В самом деле, что? Сидит и шьет сегодня рядом с Питером.

Она посмотрела на Питера Уолша. Взгляд, прой-

дя насквозь годы и чувства, неуверенно коснулся его лица; остановился на нем в поволоке слез; вспорхнул и улетел, как, едва тронув ветку, птица вспархивает и улетает. Осталось только вытереть слезы.

— Да, — сказал Питер, — да-да-да, — сказал он так, будто она что-то вытянула из глуби наружу, задев его и поранив. Ему хотелось закричать: «Хватит! Довольно!» Ведь он не стар еще. Жизнь не кончена никоим образом; ему только-только за пятьдесят. Сказать? — думал он. Или не стоит? Лучше б сразу. Но она чересчур холодна, думал он. Шьет. И ножницы эти. Дейзи рядом с Клариссой показалась бы простенькой. И она сочтет меня неудачником, да я и есть неудачник в их понимании, в понимании Дэллоуэев. И еще бы, вне сомнения, он неудачник рядом с этим со всем — инкрустированный столик и разукрашенный разрезальный нож, дельфин, и подсвечники, и обивка на стульях, и старинные дорогие английские гравюры — конечно, он неудачник! Мне претит это самодовольство и ограниченность, думал он; все Ричард, не Кларисса. Только зачем понадобилось выходить за него замуж? (Тут появилась Люси, внося серебро, опять серебро, и до чего мила, стройна, изящна, думал он, покуда она

наклонялась, это серебро раскладывая.) И так все время! Так и шло, думал он. Неделя за неделей; Клариссина жизнь; а я меж тем… подумал он; и тотчас из него будто излучилось разом — путешествия; верховая езда; ссоры; приключения; бридж; любовные связи; работа, работа, работа! И, смело вытащив из кармана нож, свой старый нож с роговой ручкой (тот же, готова была поклясться Кларисса, что и тридцать лет назад), он сжал его в кулаке.

И что за привычка невозможная, думала Кларисса. Вечно играть ножом. И вечно, как дура, чувствуешь себя с ним несерьезной, пустой, балаболкой. Но я-то хороша, подумала она и, снова взявшись за ножницы, призвала, словно королева, когда заснули телохранители, и она беззащитна (а ведь ее обескуражил этот визит, да, он ее выбил из колеи), и каждый, кому не лень, может вломиться и застать ее под склоненным куском куманики, — призвала все, что умела, все, что имела — мужа, Элизабет, словом, себя самое (теперешнюю, почти неизвестную Питеру) для отражения вражьей атаки.

— Ну, а что у тебя происходит? — спросила она. Так бьют копытами кони перед сражением; трясут гривами, блестят их бока, изгибаются

шеи. Так Питер Уолш и Кларисса, сидя рядышком на синей кушетке, вызывали друг друга на бой. Питер собирал свои силы. Готовил к атаке все: похвальные отзывы; свою карьеру в Оксфорде; и как он женился — она ничего об этом не знает; как он любил; и свою беспорочную службу.

— О, тьма всевозможных вещей! — объявил он во власти сомкнутых сил, уже несущих в атаку, и со сладким ужасом и восторгом, будто плывя на плечах невидимки-толпы, он поднял руки к вискам.

Кларисса сидела очень прямо; она затаила дыхание.

— Я влюблен, — сказал он, но не ей, а тени, встающей во тьме, которой не смеешь коснуться, но слагаешь венок на травы во тьме.

— Влюблен, — повторил он, уже сухо — Клариссе Дэллоуэй, — влюблен в одну девушку в Индии. — Он сложил свой венок. Пусть Кларисса что хочет, то с этим венком и делает.

— Влюблен! — сказала она. В его возрасте в галстучке бабочкой — и под пятою этого чудовища! Да у него же шея худая и красные руки. И он на шесть месяцев старше меня, доносили глаза. Но в душе она знала — он влюблен. Да, да, она знала — он влюблен.

Но тут неукротимый эгоизм, неизбежно одолевающий все выставляемые против него силы, поток, рвущийся вперед и вперед, даже когда цели и нет перед ним, — неукротимый эгоизм вдруг залил щеки Клариссы краской; Кларисса помолодела; очень розовая, с очень блестящими глазами, сидела она, держа на коленях платье, и иголка с зеленой шелковой ниткой чуть прыгала у нее в руке. Влюблен! Не в нее. Та небось помоложе.

— И кто же она? — осведомилась Кларисса.

Пора было снять статую с пьедестала и поставить меж ними.

— Она, к сожалению, замужем, — сказал он. — Жена майора индийской армии.

И, выставляя ее перед Клариссой в столь комическом свете, он улыбался странно-иронической, нежной улыбкой.

(Но все равно он влюблен, думала Кларисса.)

— У нее, — продолжил он деловито, — двое детишек — мальчик и девочка. Я приехал понаведаться у моих адвокатов насчет развода.

Вот они тебе, думал он. На, делай с ними что хочешь, Кларисса! Пожалуйста! И с каждой секундой жена майора индийской армии (его Дейзи) и ее двое детишек становились будто прелестней

под взглядом Клариссы, словно он поджег серый шарик на металлическом блюде, и встало прелестное дерево на терпком соленом просторе их близости (ведь никто, в общем, не понимал его, никто так не знал его чувств, как Кларисса), их восхитительной близости.

Подольстилась к нему, одурачила, думала Кларисса. Три взмаха ножа — и ей совершенно ясна была эта женщина, эта жена майора индийской армии. Глупость! Безумие! Всю жизнь одни глупости. Сперва его выгоняют из Оксфорда. Потом он женится на девице, подвернувшейся ему на пароходе по пути в Индию. И теперь еще эта жена майора индийской армии. Слава богу, она тогда ему отказала, не пошла за него замуж! Да, но он влюблен, старый друг, милый Питер влюблен.

— И что ты думаешь делать? — спросила она.

— О, адвокаты, защитники, господа Хупер и Грейтли из «Линкольнз инн», уж они-то найдут, что тут делать, — сказал он. И он положительно стал подрезать перочинным ножом себе ногти.

Да оставь ты ради бога в покое свой нож! — взмолилась она про себя, совершенно теряя терпение. Дурацкая невоспитанность — вот его слабость; совершенное нежелание считаться с тем, что ощущает другой, — вот что вечно бесило

ее. Но в его-то возрасте — какая нелепость!

Знаю я все, подумал Питер, знаю, против кого я иду, подумал он и пробежал беспокойным пальцем вдоль лезвия. Кларисса, Дэллоуэй и прочая братия. Но я покажу Клариссе! — и вдруг, сраженный неуловимыми силами, ударившими по нему врасплох, он ударился в слезы. Он сидел на кушетке и плакал, плакал, ничуть не стыдясь своих слез, и слезы бежали у него по щекам.

И Кларисса наклонилась вперед, взяла его за руку, притянула к себе, поцеловала — и она ощущала его щеку на своей все время, пока унимала колыханье, вздуванье султанов в серебряном плеске, как трепет травы под тропическим ветром, а когда ветер унялся, она сидела, трепля его по коленке, и было ей удивительно с ним хорошо и легко, и мелькнуло: «Если б я пошла за него, эта радость была бы всегда моя».

Для нее все кончилось. Простыня не смята и узка кровать. Она поднялась на башню одна, а они собирают на солнышке куманику. Дверь захлопнулась, кругом облупившаяся штукатурка и клочья от птичьих гнезд, и земля далеко-далеко, и тоненько, зябко долетают оттуда звуки (как когда-то в Лей-Хилле!), и — Ричард, Ричард! — взмолилась она, как, внезапно проснувшись,

простирают руки в ночи — и получила: «Завтракает с леди Брутн». Он меня предал; я навеки одна, подумала она, складывая на коленях руки.

Питер Уолш встал, и подошел к окну, и повернулся к ней спиной, и туда-сюда порхал пестрый носовой платок. Он стоял, подтянутый, поджарый, потерянный, и лопатки чуть-чуть выдавались под пиджаком; он истошно сморкался. Возьми меня с собой, вдруг подумала Кларисса, будто он вот сейчас тронется в дальний путь, и сразу же, через миг, словно пьеса, напряженная и занимательная, кончилась, и за пять актов она прожила всю свою жизнь, и сбежала, прожила жизнь с Питером, и все теперь кончилось.

Теперь пора было уходить, и как дама в ложе собирает накидку, перчатки, бинокль и встает, чтоб идти из театра на улицу, так она поднялась с кушетки и подошла к Питеру.

Он же недоумевал и поражался тому, что по-прежнему в ее власти, поднося к нему шелест и звон, удивительно, что по-прежнему в ее власти, подходя к нему через комнату, возводить постылый тот лунный лик в летнее небо над террасою в Бортоне.

— Скажи мне, — и он схватил ее за плечи, — ты счастлива, Кларисса? Скажи — Ричард…

Дверь отворилась.

— А вот и моя Элизабет, — сказала Кларисса с чувством, театрально, быть может.

— Здравствуйте, — сказала Элизабет, подходя.

Удар Биг-Бена, отбивающий полчаса, упал на них с особенной силой, будто рассеянный баловень стал играть без всякого смысла гантелями.

— Здравствуй, Элизабет, — крикнул Питер, сунул нож в карман, быстро подошел, не глядя в лицо, сказал: — До свиданья, Кларисса, — быстро вышел из комнаты, сбежал по лестнице, отворил парадную дверь.

— Питер! Питер! — кричала Кларисса, выходя за ним следом на лестницу. — Прием! Мой прием не забудь! — кричала она, стараясь перекрыть рев улицы, и, заглушаемый шумом машин и боем всех часов сразу, ее голос: «Мой прием не забудь!» — очень тоненький, хрупкий и дальний — долетел до Питера Уолша, затворявшего дверь.

Мой прием не забудь, мой прием не забудь, повторял Питер Уолш, выходя на улицу, повторял, скандируя, в лад отвесно текущим звукам Биг-Бена, отбивающего полчаса. (Свинцовые круги разбегались по воздуху.) Ох уж эти приемы, думал он. Клариссины приемы. Зачем ей эти приемы? — думал он. Не то чтоб он осуждал ее или,

скажем, вот этого господина во фраке с гвоздикой в петлице, вышагивающего навстречу. Нет, только один-единственный человек на свете так влюблен. А вот и этот счастливчик собственной персоной, вот он вам — в зеркальной витрине автомобильного магазина на Виктория-стрит. За плечами — целая Индия; долины, горы; эпидемии холеры; округ вдвое больше Ирландии; и все надо было решать самому — ему, Питеру Уолшу, который наконец-то, впервые в жизни, влюблен. А Кларисса как будто жестче стала, думал он, и чуть сентиментальна вдобавок, сдавалось ему, пока он разглядывал огромные автомобили, на которых можно выжимать — сколько миль, на скольких галлонах? Он ведь не полный профан в механике; ввел у себя в округе плуг, выписал тачки из Англии, только кули не захотели, а что про все это знает Кларисса?

И то, как она сказала: «А вот и моя Элизабет!», его покоробило. Почему не просто: «Вот Элизабет»? Неискренне. И самой Элизабет не понравилось. (Тут последние раскаты гулкого голоса сотрясли воздух; полчаса; еще рано; всего половина двенадцатого.) Он-то понимает молодых. Она ему нравится. А Кларисса всегда была холодновата, думал он. В ней всегда, даже

в девочке, была скованность, которая с годами обращается в светскость, и тогда — все, тогда — все, думал он, и, не без тоски вглядываясь в зеркальные глубины, он начал беспокоиться, не было ли ей неприятно его неурочное вторжение; вдруг устыдился, что свалял дурака, ударился в слезы, расчувствовался, выложил ей все — как всегда, как всегда.

Как туча набегает на солнце, находит на Лондон тишина и обволакивает душу. Напряжение отпускает. Время полощется на мачте. И — стоп. Мы стоим. Лишь негнущийся остов привычки держит человеческий корпус, а внутри — ничего там нет, совершенно полый корпус, говорил себе Питер Уолш, ощущая бесконечную пустоту. Кларисса мне отказала, думал он. Он стоял и думал: Кларисса мне отказала.

Ах, сказала церковь святой Маргариты, как хозяйка, войдя в гостиную с последним ударом часов, когда гости уже в сборе. Я не опоздала. Нет-нет, сейчас ровно половина двенадцатого, говорит она. И хотя она совершенно права, голос ее (она ведь хозяйка) вам не хочет навязывать свои характерные нотки; он подернут печалью о прошлом и какими-то нынешними заботами. Сейчас половина двенадцатого, говорит она,

и звон святой Маргариты попадает в тайники сердца, и прячется, и уходит все глубже и глубже, покуда кругами расходятся звуки, как что-то живое, чтобы довериться, раствориться и успокоиться в дрожи восторга — будто Кларисса сама, подумал Питер Уолш, в белом платье спускается вниз с ударом часов. Это Кларисса сама, подумал он, замирая от глубокого чувства и какого-то удивительно четкого, но загадочного воспоминания о Клариссе, будто звон этот давным-давно залетел в комнату, где они сидели вдвоем, залетел в минуту их немыслимой близости, подрожал над ним и над нею и, как добывшая меда пчела, улетел, отягченный минутой. Но в какую комнату? И в какую минуту? И почему бой часов вдруг обдал его счастьем? Но когда звон святой Маргариты стал таять, он подумал: «Она же была больна» — и в звоне были усталость и боль. Да-да, что-то с сердцем, он вспомнил. И неожиданно резкий последний удар вызвонил смерть, всегда стерегущую смерть, и под этот удар Кларисса падала замертво на пол гостиной. «Нет-нет! — закричало сердце Питера. — Она жива еще! Я еще не стар!» — кричало его сердце, и он зашагал вверх по Уайтхоллу так, словно могучее, бесконечное, под ноги ему скатывалось его будущее.

Он не стар, никоим образом; не скис, не скукожился. А насчет того, что скажут Дэллоуэи, Уитбреды и вся эта шатия — ему с высокой горы наплевать — наплевать! (Хотя, конечно, рано или поздно придется обратиться к Ричарду, чтоб помог с работой.) На ходу он окидывал взглядом статую герцога Кембриджского. Прогнали из Оксфорда — верно. Был социалистом, в известном смысле неудачник — верно. И все же будущее цивилизации, думал он, в руках таких молодых людей; таких, как он был тридцать лет назад; которые преданы отвлеченностям; которым шлют книги, где б они ни застряли, от Лондона до вершин Гималаев; научные книги, философские книги. Будущее в руках таких молодых людей.

Где-то сзади родился дробно-рассыпчатый шелест, словно листьев в лесу, накатил и настиг гулким и мерным стуком, подхватил его мысли и без его участия поволок по Уайтхоллу. Мальчишки в солдатских мундирах шли с винтовками, выпятив грудь, устремив взоры в пространство, а выражение на лицах у них было как надпись по цоколю статуи, восхваляющая чувство долга, благодарность, верность, любовь к Англии.

Да, думал Питер Уолш, невольно попадая с ними в ногу, превосходная выучка. Но тут были

отнюдь не богатыри. В основном щуплые, не старше шестнадцати лет, и завтра, очень возможно, они будут стоять за прилавком, торгуя мылом и рисом. Теперь же их всех, отреша от мирской сутолоки и сердечных забав, осеняла торжественность венка, который они несли из пригорода возлагать на пустую гробницу. Они священнодействовали. И улица их уважала; фургоны не пропускались.

Нет, за ними не угонишься, подумал Питер Уолш, когда они вышагали по Уайтхоллу, и, разумеется, они прошли дальше, мимо него, мимо всех, ровно, твердо, будто единая воля двигала в лад руки и ноги, покуда жизнь, вольная и безалаберная, была не видна из-за венков и статуй и силою дисциплины вгонялась в застывший, хоть и глазеющий труп. Этого нельзя не уважать; пусть это даже смешно, да, но не уважать нельзя, думал он. Идут-идут, думал Питер Уолш, остановясь на краю тротуара. А все величавые статуи — Нельсона, Гордона, Хэвлока, — черные, гордые образы доблестных воинов меж тем устремляли взоры в пространство, будто и они пошли на такое же самоотречение (Питеру Уолшу казалось сейчас, что и сам он пошел на это великое самоотречение), одолели те же соблазны, чтоб наконец-то

обрести эту пристальность каменных взоров. Он-то, Питер Уолш, на каменный взор нисколько не притязал. Хоть в других уважал его. В мальчиках тоже. Они еще не познали мучений плоти, подумал он, когда марширующие юнцы канули в сторону Стрэнда, ну, а мне досталось, подумал он, и перешел через дорогу, и остановился у памятника Гордону, Гордону, которого мальчишкой боготворил; Гордон стоял сиро, выставив одну ногу и скрестив на груди руки. Бедняга Гордон!

И оттого, что ни одна душа, кроме Клариссы, не знала, что он в Лондоне, и земля после парохода казалась все еще островом, ему сделалось до ошеломления странно, что вот он один, живехонек, никому не ведомый стоит в половине двенадцатого на Трафальгар-сквер. Да что это? Где я? И зачем, в конце концов, это все? — думал он. Развод показался вдруг совершеннейшим вздором. И мысль распласталась болотом, и три чувства нахлынули: снисхождение, любовь ко всем и — как их результат — захлестывающий восторг, будто кто-то в мозгу его дернул веревки, открыл шторы, он же стоял в это время сам по себе, но перед ним распростерлись бесконечные улицы — иди по какой пожелаешь. Давно уж не чувствовал он себя таким молодым.

Спасен! Избавлен! — так бывает, когда привычка вдруг рушится и дух разгулявшимся пламенем ширится, клонится и вот-вот сорвется с опор. Давно уж не чувствовал я себя таким молодым, думал Питер Уолш, спасенный от того (на часок на какой-то, конечно), от чего никуда не денешься, от самого себя, — как ребенок, который улепетнул из дому и видит на бегу, как старая няня куда-то наугад тычет рукой из окошка. Но до чего же прелестна, подумал он, ибо Трафальгар-сквер в направлении к Хэймаркету пересекла молодая женщина и, проходя мимо памятника Гордону, роняла вуаль за вуалью, как показалось Питеру Уолшу при его впечатлительности, пока не сделалась тем, что всегда мечталось ему, — юная, но статная; веселая, но сдержанная; темноволосая, но обворожительная.

Приосанясь и украдкой поигрывая перочинным ножом, он устремился за нею, этой женщиной, этой радостью и находкой, которая, даже и поворотя ему спину, обдавала светом, объединяющим их, выделяющим его из множеств, будто сама истошно-громкая улица, сложив рупором руки, нашептывала его имя, не Питер, нет, но то интимное имя, каким он сам себя называл в собственных мыслях.

«Ты», говорила женщина, просто «ты», говорили ее белые перчатки и плечи. Вот легкий длинный плащ встрепенулся от ветра возле магазина издательства «Дент» на Кокспер-стрит и взмыл с печальной, облекающей нежностью, будто принимая в объятья усталого…

Э, да она не замужем; молоденькая, совершенно молоденькая, подумал Питер Уолш, когда красная гвоздика, которую он у нее еще раньше заметил на Трафальгар-сквер, снова полыхнула ему в глаза и ярко окрасила ее губы. Вот она остановилась у края тротуара. Ждет. В осанке — какое достоинство. Она не светская, не то что Кларисса. И не богатая, не то что Кларисса. Интересно, подумал он, когда она снова пошла, а она из хорошей семьи? Она остроумна, у нее острый, жалящий язычок, думал он (почему же не пофантазировать — легкая вольность не возбраняется), ее остроумие сдержанно, метко, она не шумлива.

Пошла. Перешла улицу. Он за нею. Он, натурально, не собирается ей докучать. Но если сама остановится, можно сказать: «Пойдемте-ка есть мороженое», почему не сказать, и она, не кривляясь, ответит: «Отчего ж».

Но его обгоняли, мешали, заслоняли ее. Он не отставал. Она повернула. Щеки у нее разгорелись,

у нее смеялись глаза. А он был смельчак, удалец, быстрый, бесстрашный (только вчера из Индии), отважный пират, и плевать ему было на все эти штуки, желтые халаты и трубки, и эти их удочки, и на их респектабельность, на все их приемы, на лощеных старикашек в белых галстуках и жилетах. Он был отважный пират. А она шла и шла, по Пиккадилли, по Риджентс-стрит, шла впереди, и плащ ее, перчатки и плечи сочетались с кружевами, оборками, перьевыми боа, и дух роскоши и причуд нисходил на нее с витрин, как ночью свет фонаря плывет, подрагивая, над сонной травою.

Веселая, восхитительная, она пересекла Оксфорд-стрит и Грейт-Портленд-стрит и свернула в какую-то узкую улочку и — вот, вот он, торжественный миг, да, она замедлила шаг, открыла сумочку, бросила взгляд в его сторону, но мимо, сквозь, и взгляд был прощальный, последний и подводил итог, победный итог, и она вынула ключ, открыла дверь и исчезла! Клариссин голос: «Мой прием не забудь!» — звенел у него в ушах. Дом был из красных унылых домов в цветочных висячих горшках по фасаду, не слишком хорошего тона. Что ж, с этим кончено.

Зато позабавился. Все равно позабавился, думал он, поднимая глаза на качающиеся в горшках

бледные гераньки. И вот — вдребезги эта забава; потому что он в общем-то сам ее сочинил, ясно же, он от начала и до конца сочинил дурацкую вылазку с этой девицей; сочинил, как мы все почти сочиняем, думал он. Сочиняем себя. И ее. Прелестные увеселения и кое-что посерьезней. Но вот что странно — и верно: ни с кем ничего не разделишь — все разбивается вдребезги.

Он повернул. Пошел обратно и стал думать, где б приземлиться, пока не пора еще в «Линкольнз инн», к господам Грейтли и Хуперу. Куда ж податься? А, не важно. Ладно, значит, в Риджентс-Парк. И ботинки выбивали по тротуару «не важно»; потому что в самом деле оставалась еще бездна времени, бездна времени.

Утро меж тем стояло прелестнейшее. Как пульс при исправном сердце, ровно билась в улицах жизнь. Без запинок и перебоев. Гладко, четко, точно, бесшумно, с раскату, секунда в секунду у двери остановился автомобиль. Девушка в шелковых чулках и в оперенье, воздушная, но не слишком в его вкусе (да и все позади, позади) выпорхнула из автомобиля. Вышколенные дворецкие, рыжие чау-чау, холлы, черно-бело выложенные ромбами, упруго вздутые белые шторы — все это глянуло на Питера через отво-

ренную дверь и понравилось. Великолепное, в сущности, достижение — Лондон, летом особенно; цивилизация, да.

Происходя из почтенной англо-индийской семьи, по крайней мере три поколения которой ведали делами Индии (странно, почему я думаю об этом с сентиментальностью, я не люблю ведь Индию, империю, армию), минутами он ценил цивилизацию — даже в таких ее проявлениях — как свою собственность; На него находило; и тогда он гордился Англией; дворецкими, чау-чау, недосягаемыми девицами. Смешно, а вот поди ж ты, думал он. И доктора, предприниматели и умные женщины, спешащие по делам, точные, целеустремленные, крепкие, были, ей-богу, прелестны, свои люди, кому можно без страха доверить жизнь, с кем славно шагать нога в ногу по жизни, кто поддержит тебя в беде. В общем, вполне интересный спектакль, и оставалось только найти, где б в тени присесть с сигарой.

Вот и Риджентс-Парк. Да. Мальчишкой я гулял в Риджентс-Парке — странно, думал он, и что это мне все время лезет в голову детство? Наверное, потому, что повидался с Клариссой; женщины больше живут прошлым, думал он. Они привязаны к местам. И к отцам. Каждая женщина

гордится отцом. Бортон — чудное место, дивное место, но я не ладил со стариком, думал он. Как-то вечером разразился даже скандал, вышел спор, он не мог уже вспомнить, из-за чего, из-за политики, кажется.

Да. Риджентс-Парк. Длинная прямая аллея; слева домик, там покупали воздушные шарики; дурацкая статуя, на ней еще где-то какая-то надпись. Он поискал глазами пустую скамейку. Не хотелось, чтоб лезли с вопросами: «который час?» (немного клонило в сон). Вот пожилая седенькая няня, и рядом ребенок в колясочке — ага, это самое лучшее; подсесть на скамейку к той няне, на дальний конец.

А она странная девочка, подумал он, вдруг вспомнив, как Элизабет вошла и стала рядом с матерью. Высокая. И взрослая совсем; не то чтоб очень хорошенькая. Скорей миловидна. Ей ведь не больше восемнадцати, кажется. Наверное, не ладит с Клариссой. И это «а вот и моя Элизабет» (почему не просто: «Вот Элизабет»), наверное, как у большинства матерей от желания что-то замазать. Слишком уж она нажимает на свое обаяние, думал он. Палку перегибает.

Сигарный благоденственный дым прохладой спустился по горлу; он выпустил его кольцами,

и с минуту они храбро сражались с воздухом, синие, круглые, — надо вечером улучить минутку и переговорить с Элизабет с глазу на глаз, он думал, — но вот потекли, как песок в песочных часах, истончились; странные какие формы, он думал. Глаза слипались, еле-еле удалось поднять руку и выбросить остаток сигары. Метла помела по мыслям, прометала ветки, детский говор, прохожих, шорох ног, грохот улицы, нарастающий, опадающий грохот. Вниз, вниз, вниз затягивали перья и перышки сна, и вот он уже провалился и увяз в перьях.

Седенькая няня снова принялась вязать, когда Питер Уолш захрапел на горячей скамейке с нею рядом. В своем сереньком платье, неустанно и ровно двигая локтями, она была как борец за права спящих и подобна тем духам сумерек, что встают над рощами — порождения веток и облаков.

Одинокий странник, которого знают заглохшие тропы, хоронится папоротник и недолюбливает болиголов, вдруг, вскинув взор, видит в конце просеки живую огромную тень.

По убеждению, пожалуй, он атеист, и его застигают врасплох такие немыслимые минуты. Все, что вне нас, — лишь создание нашего разума, так

думает он, все от желания утешиться и забыться, спастись от этих жалких пигмеев, этих слабых, и трусливых, и низких мужчин и женщин. Но раз я постигаю ее, стало быть, странным образом она существует, так думает он, и, бредя по тропе, устремив взор на облака и на ветки, он уже наделяет их женственностью; с изумлением замечает, как они наливаются тягостью; как величаво, движимые ветерком, они роняют под темный шорох листвы доброту, понимание, прощение и, вдруг дернувшись, сразу теряют благочестие облика в диком загуле.

Вот какие видения манят одинокого странника, как рог изобилия, полный плодов, или как шепот сирен, когда, шепнув ему в уши, они укрываются за зелеными гребнями волн, или как розы в росе, когда бьют по лицу, или как лица, как бледные нежные лица, когда околдовывают и зовут рыбака, поднимаясь к поверхности изглубока.

Вот какие видения непрестанно всплывают, и мешаются, и вклиниваются, заслоняют то, что подлинно существует; и часто одолевают одинокого странника, отбивая память о грешной земле и охоту туда возвращаться, а взамен даря совершенный покой, будто (так он думает, продвигаясь по просеке) вся эта горячка жизни — сплошная

наивность; и бездна разных вещей уже слита в одну; и эта живая тень, порождение веток и облаков, встала из бурного моря (он уж стар, ему уж за пятьдесят), как призрак встает над волнами, чтоб струить из своих несравненных, ее нежных ладоней жалость, понимание, прощение. И мне уже не придется, так думает он, возвращаться под сень абажура; в гостиную; дочитывать книжку; выколачивать трубку; звонить миссис Тернер, чтоб убрала; пойду-ка я прямо и прямо к этой огромной тени, и она встряхнет головой, и поднимет меня на своих вымпелах, и прахом развеет, как всех.

Вот какие видения. Одинокий странник скоро выходит из лесу. А там на крыльце, поднеся щитками ладони к вискам, может быть, поджидая его, в белом веющем фартуке, стоит седая женщина, и кажется (так неодолимо сильна эта немощь), что она в пустыне выискивает блудного сына; ищет павшего конника; что она — это мать, потерявшая всех сыновей на войне. И покуда путник идет деревенской улицей, где женщины вяжут, а мужчины окапывают деревья в садах, закат становится знамением; и все замирают; будто высокий, заведомый жребий, ожидаемый ими без страха, вот-вот сметет их в совершенное

небытие.

В комнате, среди обыденных вещей — стол, буфет, подоконник с геранькаами, — очерк хозяйки, наклонившейся, чтобы снять скатерть, вдруг нежно обтягивается светом, оборачивается обожаемым символом, и только память о холодности человеческих встреч запрещает в него поверить. Она берет со стола варенье, ставит в буфет.

— Больше сегодня ничего не надо, сэр?

Но кому ответит одинокий странник?

И вязала над спящим младенцем старая няня в Риджентс-Парке. И храпел Питер Уолш. Он проснулся рывком со словами: «Погибель души».

— Господи! Господи! — произнес он сам с собой вслух, потянулся и открыл глаза. — Погибель души. — Слова были связаны с какой-то сценой, комнатой, с прошлым, о котором был сон. Постепенно прояснились: сцена, комната, прошлое, о котором был сон.

Это было в Бортоне тем летом, в начале девяностых годов, когда он так сходил с ума по Клариссе. В гостиной собралось много народу, сидели за столом после чая, говорили, смеялись, и комната плыла в желтом свете и сигарном дыму. Говорили о ком-то — имя запамятовал, — кто женился на собственной горничной. Женился и привез ее

в Бортон с визитом, и вышло ужасно. Она отчаянно разрядилась — «совершеннейший попугай», сказала изображавшая ее Кларисса, — и не закрывала рта ни на минуту. Трещит, и трещит, и трещит. Кларисса ее изображала. А потом кто-то сказал — это Салли Сетон сказала: «И что же меняет, в конце концов, если она родила ребенка до того, как они поженились?» (Вопрос очень смелый по тем временам в смешанном обществе.) И — он как сейчас видит — Кларисса залилась краской, вся будто сжалась и выговорила: «О, теперь я ни слова не смогу с ней сказать!» После чего всех за столом будто встряхнуло. Вышло ужасно неловко.

И важно даже не то, что она сказала; девушки, воспитанные, как она, в те времена ничего не знали о жизни, но его возмутил ее тон — скованный, резкий, надменный, жеманный. «Погибель души». У него это вырвалось. Он опять, как тогда, снабдил этот миг ярлыком — погибель ее души.

Все вздрогнули; все согнулись от Клариссиных слов и встали уже другими. Помнится, Салли Сетон, как набедокурившее дитя, вспыхнула, подалась вперед, хотела что-то сказать, но побоялась, Клариссы побаивались. (Она была ближайшая подруга Клариссы, жила в Бортоне,

привлекательное существо, красивая, темноволосая, и считалась по тем временам очень смелой, он сам давал ей сигары, и она курила их у себя в комнате, и она была то ли с кем-то помолвлена, то ли порвала с семьей, и старый Парри обоих их не любил, что очень сближало.) А потом Кларисса с таким видом, будто все они ее оскорбили, поднялась и под каким-то предлогом вышла — одна. Когда она открыла дверь, вбежал лохматый пес, он у них сторожил овец, и она бросилась к нему, начала умиляться. Будто хотела сказать Питеру (все, он-то знал, делалось ради него): «Вот ты осуждаешь меня за мое отношение к этой особе, считаешь его нелепым, но посмотри, какой я могу быть милой и ласковой, как я люблю своего Роба!»

Они всегда странным образом могли сообщаться без слов. Она всегда понимала тотчас, если он ее осуждал. И что-нибудь делала, явно чтоб оправдаться, — вроде той возни с собакой, да только напрасно старалась, он видел Клариссу насквозь. Разумеется, он ей ничего не сказал. Просто он дулся. И так обычно у них начинались ссоры.

Она затворила дверь. И сразу же ему сделалось нестерпимо тоскливо. Все стало бессмысленно — дальше любить, дальше ссориться, дальше

мириться. И он побрел, один, среди служб и конюшен, глядя на лошадей. (Парри жили скромно, не отличались богатством, но тут всегда были конюхи, грумы — Кларисса любила ездить верхом, — и был старый кучер — как бишь его звали? — и старая няня, бабушка Мумсик, бабушка Пумсик, как-то так, и полагалось к ней ходить на поклон в комнатенку, увешанную фотографиями и птичьими клетками.)

Чудовищный вечер! Он все больше мрачнел, и не только из-за этого, а вообще. И он никак не мог поймать ее, переговорить, объясниться. Везде толклись люди, и она вела себя как ни в чем не бывало. В том-то и ужас — ее эта холодность, каменность, и так глубоко в ней сидит, сегодня утром он снова почувствовал. Непроницаемость. Но, видит Бог, он ее любил. Она странным образом умела дергать человеку нервы, и притом они пели, как струны скрипки. Да.

Он очень поздно вышел к ужину, чтоб привлечь к себе внимание — о, болван, — и уселся рядом со старой мисс Парри, тетей Еленой, сестрой мистера Парри, как бы главенствовавшей за столом. Она сидела в белой кашемировой шали, затылком к окну — весьма грозная старуха, но к нему она благоволила, он нашел ей какой-то

редкостный цветок, а она увлекалась ботаникой, вышагивала в грубых башмаках и складывала цветы и травы в болтавшуюся за спиной черную ботанизирку. Он уселся с ней рядом и ни слова не мог вымолвить. Все мелькало перед глазами. Но потом, посреди ужина, он заставил себя в первый раз взглянуть на Клариссу. Она разговаривала с молодым человеком справа от нее. И вдруг его осенило. «Она выйдет замуж за этого человека», — сказал он себе. А он не знал его даже по имени.

Потому что — да! — ведь в тот самый вечер, только в тот вечер и появился Дэллоуэй; и Кларисса еще называла его Уикем, с этого все и пошло. Кто-то его привез; и Кларисса перепутала фамилию. Она всем представляла его как Уикема. В конце концов он сказал: «Но я Дэллоуэй!» Так это первое впечатление от Ричарда ему и запало: светловолосый, довольно неловкий молодой человек, сидя в шезлонге, выпаливает: «Но я Дэллоуэй!» Салли к этому прицепилась, потом называла его не иначе как «Но я Дэллоуэй!».

Вообще его в ту пору непрошено осеняло. А уж это открытие — что она выйдет за Дэллоуэя — обрушилось совершенно врасплох, ослепило, как молния. Было что-то такое в ее тоне, когда она об-

ращалась к нему — как бы назвать? — простота, что-то материнское, какая-то мягкость. Разговор у них шел о политике. И до конца обеда он напряженно прислушивался, стараясь расслышать, что они говорят.

Потом он, помнится, стоял возле кресла старой мисс Парри в гостиной. Кларисса вошла — светская, безукоризненная, безупречная хозяйка, — хотела его кому-то представить, обращалась с ним так, будто они едва знакомы, и это взбесило его. Но даже и тут он восхищался. Восхищался ее мужеством, ее последовательностью, восхищался ее умением себя держать. «Безупречная хозяйка дома», — он ей сказал, и вот тут-то ее передернуло. Но он для того и сказал. Он изо всех сил старался ее задеть, после того как увидел их с Дэллоуэем. И она ушла. Ему казалось, что все сговорились против него, смеются у него за спиной. Он застыл возле кресла мисс Парри, как истукан, посреди беседы о полевых цветах. Никогда, никогда он не страдал так чудовищно! Он, наверное, даже не мог делать вид, будто слушает; вдруг опомнясь, он увидел выпученные глаза мисс Парри, недоуменные, негодующие. Он чуть не крикнул, что не может ничего слушать, оттого что ведь это ад, сущий ад! Из гостиной начинали уже расхо-

диться; говорили, что надо надеть плащи; на воде будет холодно. Собирались кататься на лодках по озеру при луне — очередная безумная выдумка Салли. Он слышал, как она расписывает луну. И все ушли. Он остался один.

— А вы разве не идете? — спросила тетя Елена; бедная старушка, она догадалась! Он обернулся и увидел Клариссу. Она вернулась, за ним. Его ошеломило ее благородство — ее доброта.

— Идем же, — сказала она. — Там ждут.

Никогда за всю свою жизнь он не был так счастлив! Без единого слова они помирились. Они шли к озеру. Двадцать минут совершенного счастья. Ее голос, смех, ее платье (что-то веющее, белое и малиновое), ее настроение, дух приключений; она заставила всех высадиться и исследовать остров; спугнула курицу; она хохотала; пела. И все время, все время он в себе чувствовал: Дэллоуэй влюблялся в нее; она влюблялась в Дэллоуэя: но как-то это было не важно. Все было не важно. Они сидели на земле и болтали — он и Кларисса, и все выражалось и схватывалось само, без малейших усилий. А потом, в секунду, настал конец. Он сказал себе, когда сели в лодку: «Она выйдет замуж за этого человека», устало сказал, без досады; но все было ясно. Дэллоуэй женится на Клариссе.

Греб Дэллоуэй. Он все время молчал. Но почему-то, когда он вспрыгнул на велосипед с тем, чтоб сделать двадцать миль лесом, и, клонясь на вильнувшей дорожке, исчезая, помахал им рукой, стало с очевидностью ясно, как он ощущает — нутром, глубоко и мучительно — все это: ночь, нежность, Клариссу. Он ее заслужил.

Сам же он вел себя нелепо. Его требования к Клариссе (теперь-то он видит) были нелепы. Он хотел невозможного. Устраивал дикие сцены. Но, может быть, она все равно бы пошла за него, не веди он себя так нелепо. Так Салли считала. Все то лето она писала ему длинные письма; они-де про него говорили; она-де хвалила его, и Кларисса расплакалась! Невероятное лето; письма, сцены, телеграммы; приезды в Бортон ни свет ни заря, дурацкая неприкаянность, покуда не встанут слуги; чудовищные завтраки tete-a-tete со старым мистером Парри. Свирепая, но к нему снисходительная тетя Елена; Салли, таскавшая его для срочных бесед в огород; Кларисса — в постели из-за мигреней.

Решительная, последняя сцена, ужасная сцена, значившая, наверное, больше всего в его жизни (возможно, преувеличение, но сейчас ему кажется так), произошла в три часа, в один очень

жаркий день. Началось с пустяка, Салли упомянула за завтраком Дэллоуэя и назвала его «Но я Дэллоуэй!»; после чего Кларисса вдруг сжалась, залилась краской, как это с нею бывало, и отчеканила: «Мы уже слышали эту глупую шутку». Вот и все. Но для него она все равно что сказала: «С вами я просто развлекаюсь; а серьезно я отношусь к Ричарду Дэллоуэю». Так он ее понял. Не одну ночь он провел без сна. Он сказал себе: «Будь что будет, но надо с этим покончить». Он послал ей через Салли записку, прося о встрече возле фонтана, в три. «По очень важному поводу», — приписал он в конце записки.

Фонтан стоял посреди кустарника, вдали от дома, и всюду были кусты и деревья. Она пришла, даже раньше времени, фонтан разделял их и непрестанно ронял (был испорчен) каплями воду. Как застревают в памяти зрительные впечатления! Например, тот едко-зеленый мох.

Она не двигалась. «Скажи мне правду, скажи мне правду», — повторял он бессмысленно. У него раскалывалась голова. Кларисса будто застыла, стояла как каменная. Она не двигалась. «Скажи мне правду», — повторял он, когда старик Брайткопф на ходу высунул голову из-за своей «Таймс»; вылупился на них; открыл рот и

ушел восвояси. Они оба не двинулись. «Скажи мне правду», — повторял он. Он будто врезался с усилием во что-то физически твердое; она не поддавалась. Она была как железо, кремень, она совершенно застыла. И когда она сказала: «Не к чему, не к чему. Это конец», — после того, как он говорил, ему казалось, часами, в слезах, — она будто ударила его по лицу. Она повернулась, она бросила его, она ушла.

— Кларисса! — кричал он. — Кларисса! — Но она так и не вернулась. Все было кончено. В ту же ночь он уехал. Он больше не видел ее.

Ужасно, кричал он, ужасно, ужасно!

А, впрочем, солнце пекло. Впрочем, все проходит. Жизнь шла своим чередом. Впрочем, думал он, зевая и приходя постепенно в себя, в Риджентс-Парке мало что переменилось со времен его детства — вот разве что, может быть, белки, — но были, наверное, и новые радости — вот малышка Элси Митчелл, она собирала камушки для коллекции камушков, которая была у них с братиком на камине в детской, бухнула на бегу полную пригоршню к няне в подол и со всего размаха налетела на ноги какой-то тети. Питер Уолш рассмеялся. А Лукреция Уоррен-Смит думала: «Это гадко, за что я должна страдать?»

— спрашивала она, идя по широкой дорожке. Нет, сил никаких больше нет, думала она, бросив Септимуса, а в общем-то он уже и не Септимус никакой, раз он говорит эти страшные, злые, гадкие вещи, и пусть говорит сам с собой, с мертвецом со своим говорит там на скамейке; но тут малышка со всего размаха налетела на нее, растянулась и расплакалась.

И Лукреции полегчало. Она поставила девочку на ножки, отряхнула ей платьице, поцеловала ее.

Она же ничего плохого не сделала; любила Септимуса; была такая счастливая; и у нее был такой чудный дом, сестры и сейчас там живут, делают шляпки. За что же она-то должна страдать?

Малышка кинулась к няне, и Лукреция видела, как та бранит, утешает, берет ее на ручки, отложив вязанье, а добрый на вид господин дал ей часы («подуй-ка на крышку — откроются»), — но ей-то все это за что? Зачем надо было тащить ее из Милана? И мучить? За что?

Чуть покачивались от слез дорожка, няня, господин в сером, колясочка, поднимались и опадали. Теперь этот злой мучитель будет вечно ее терзать. За что? Она словно пташка, укрывшаяся под листком, шевельнется листок, и она

мигает; дрожит, когда хрустнет сухой сучок. За нее некому заступиться. Высокие деревья были крутом, и огромные облака — все чужое; и некому за нее заступиться; и вечно ей мучиться; за что же страдать? За что?

Она нахмурилась; топнула ножкой. Надо вернуться к Септимусу, им уже время идти к сэру Уильяму Брэдшоу. Надо вернуться — сказать, а то он сидит там под деревом на зеленом стульчике и говорит сам с собой или с этим покойником Эвансом, она всего раз его видела в лавке. Тихий, хороший, большой друг Септимуса; его убили на войне. Что ж, бывает. У всех убивают друзей на войне. И все жертвуют чем-то, когда женятся. Она родиной пожертвовала. Переехала сюда, в этот жуткий город. А Септимус забивал себе голову разными ужасами, так и она бы могла, только дай себе волю. Он делался все непонятней. Говорил, что за стеной спальни слышит какие-то голоса. Миссис Филмер просто диву давалась. И видел видения. Старушечью голову в папоротнике разглядел. А ведь мог бы быть счастлив — пожалуйста. Они ездили в Хэмптон-Корт на втором этаже автобуса и так были счастливы. Красные и желтенькие цветки повысыпали в траве, он сказал — как плавучие лампочки, и он все время

болтал, и смеялся, и сочинял разные веселые глупости. А когда стояли у реки, он вдруг сказал: «А теперь мы покончим с собой», — и посмотрел на воду такими глазами, она и раньше за ним замечала, он так смотрел — на автобусы, на поезда, как зачарованный; и она почувствовала: он от нее уходит, и она схватила его за руку. Но потом, когда возвращались домой, он был уже совершенно спокойный и рассудительный; объяснял, почему им надо покончить с собой; и как люди злы; как он видит всю их лживость, когда они проходят мимо по улице. Он, мол, насквозь их видит; он, мол, все знает. Знает смысл жизни.

А когда пришли домой, он еле ноги волочил. Лег на диван и попросил, чтоб она держала его за руку, а то, мол, он падает, падает, падает, кричит, падает в огонь! И каких-то людей увидел, будто бы они смеются над ним со стен, и страшно, жутко как-то его обзывают, и тычут в него из-за ширмы пальцами. А ведь никого не было. Но он начал вслух говорить, отвечает кому-то, спорит, хохочет, плачет — и велел ей записывать. Чушь какую-то; насчет смерти; насчет мисс Изабел Поул. Просто невыносимо. Но надо вернуться к Септимусу.

Вот она подошла. Так и есть: опять он смотрит

в небо, бормочет, всплескивает руками. А доктор Доум говорит: ничего с ним серьезного. Тогда отчего это все? Отчего он вдруг, почему, когда она села рядом, отчего он весь дернулся, и покосился так зло, и отпрянул, и показал ей на руку, схватил ее за руку и в ужасе на эту руку уставился?

Может, из-за того, что она обручальное кольцо сняла? «У меня рука похудела, — она сказала. — Я его в сумку спрятала», — она ему сказала.

Он отпустил ее руку. Брак их расторгнут, подумал он, с мукой, с облегчением. Перерезана веревка; он парит; он свободен, как заповедано было, чтобы он, Септимус, Господь людям, был свободен; один (раз его жена выбросила обручальное кольцо, раз она предала его) он, Септимус, один призван, избран услышать истину, познать смысл, ибо после всех трудов цивилизации (греки, римляне, Шекспир, Дарвин и наконец-то он сам) настала пора открыть этот смысл непосредственно… «Кому?» — спросил он вслух. «Премьер-министру», — прошелестели голоса над его головой. Следует открыть кабинету министров тайное тайных: во-первых, деревья — живые; затем — преступления нет, затем — любовь, всеобщая любовь, он бормотал, дрожа, задыхаясь, и эти глубокие, скрытые, зарытые

истины было мучительно трудно выговорить, но они полностью и навек изменят мир.

Преступления нет, любовь… — повторял он, нащупывая карандаш и блокнот, но тут фокстерьер стал обнюхивать ему брюки, и он в ужасе дернулся. Пес превращался в человека! Только не видеть! Отвратительно, страшно — видеть, как превращается в человека пес! И тотчас собака затрусила прочь.

Беспредельна милость благих небес! Его пощадили, снизошли к его слабости. Но каково же научное объяснение (ко всему ведь нужен научный подход)? Почему его взгляд все проникает насквозь и прозревает будущее, когда собаки превратятся в людей?

Возможно, тепловая волна воздействует на мозг, восприимчивый благодаря зонам эволюции. Научно говоря, плоть оплывает, отторгается от мира. Тело его истаяло таким образом, что остались одни нервные окончания. Он как туман лежит на скале.

Он откинулся на стульчике, изнуренный и радостный. Он отдыхал и ждал, когда снова сможет вещать, с усилием, с мукой, вещать человечеству. Он лежал высоко-высоко, у мира на спине. Земля дрожала под ним. Красные цветы прорастали у

него сквозь мясо; шершавые их листья шелестели над головой; наверху были скалы; они звенели. Это машина гудит на улице, пробормотал он; но там, в вышине, гудок палил по скалам, дробился, снова плотнел, и звуковые удары в стройных столбцах (оказывается, музыка бывает видна — это открытие) взмывали вверх и делались гимном, и гимн свивался с дудочкой подпаска (это старик свистит на свистульке в кабаке, пробормотал он), и когда подпасок стоял на месте, звук шел из дудочки пузырьками, а как только мальчик поднимался чуть-чуть, тонкие нежные стенания растекались над тряско грохочущей улицей. Он исполняет свою элегию прямо на мостовой, думал Септимус. Вот подпасок уходит в нагорные снега, увитый розами — пышными красными розами (как у меня в ванной на стене, вспомнил Септимус). Музыка замерла. Значит, он собрал монеты в шапку и подался в другой кабак.

А сам он был высоко на скале, как тело утонувшего матроса, выброшенное на скалу волнами. Я перегнулся через край лодки, и вот я упал, думал он. Я пошел ко дну, ко дну. Я был мертвым, но вот я ожил, только не трогайте вы меня, молил он (опять он заговорил вслух — ужасно, ужасно!), и, как перед пробуждением птичий гомон и гам

улицы дрожат дружно, в лад, и, делаясь громче и громче, катят спящего к берегу жизни, так и его прибивало к берегу жизни, солнце пекло, надсаживался крик, и что-то страшное могло стрястись с минуты на минуту.

Только б открыть глаза; но на них что-то давило; давил страх. Септимус поднатужился; вытянулся; открыл глаза; увидел перед собой Риджентс-Парк. Длинные полотнища света льнули к его ногам. Деревья колыхались, шатались; мы рады, будто говорил мир; мы согласны; мы создаем; создаем красоту, будто говорил мир. И словно для того, чтобы это доказать (научно), куда б ни взглянул Септимус — на дома, ограды, на антилоп, выглядывающих из зоологического сада, — отовсюду навстречу ему вставала красота. Какая радость — видеть бьющийся на ветру листок. В вышине ласточки виляют, ныряют, взмывают, но с неимоверной правильностью, будто качаются на невидимой резинке; а как вверх-вниз носятся мухи; и солнце пятнает то тот листок, то этот, заливая жидким золотом, исключительно от избытка счастья. И такой идет, идет по траве колдовской перезвон (возможно, это часто-часто гудит машина) — и все, как бы ни было просто, как бы ни составлялось из пустяков,

но стало отныне истиной. Красота — вот что есть истина. И красота — всюду.

— Уже время, — сказала Реция.

Со слова «время» сошла шелуха; оно излило на него свои блага; и с губ, как стружка с рубанка, сами собой, белые, твердые, нетленные, побежали слова, скорей, скорей занять место в оде Времени — в бессмертной оде Времени. Он пел. Эванс отзывался ему из-за вяза. Мертвые в Фессалии, пел Эванс, средь орхидей. Там они выжидали конца войны. И вот теперь мертвецы, и сам Эванс…

— Бога ради, не подходите! — вскрикнул Септимус. Он не мог смотреть на покойников.

Но раздвинулись ветки. Человек в сером действительно шел прямо на них. Эванс! Но ни грязи, ни ран — он такой же, как был. Я возвещу это всем народам, кричал Септимус, подняв руку (а покойник в сером к нему приближался), подняв руку, как черный колосс, который веками одиноко горевал в пустыне о судьбах людей, зажав в ладонях лицо, все в бороздах скорби, но вот он увидел полосу света над краем пустыни, и она длилась вдали, и свет ударил в колосса (Септимус приподнялся со стула), и в прахе простерлись пред ним легионы, и в лицо безмерного плакальщика тотчас…

— Мне до того плохо, Септимус, — говорила Реция, пытаясь его усадить.

Миллионы стенали; веками скорбели они. Надо повернуться, сказать им, сейчас, сейчас он скажет про эту радость и благодать, про беспримернейшее открытие…

— Время, Септимус, — повторяла Реция. — Сколько сейчас?

Он бормотал, он весь дергался, тот господин, наверное, заметил. Он смотрел прямо на них.

— Сейчас я скажу тебе время, — произнес Септимус очень медленно, очень сонно и загадочно улыбнулся покойнику в сером. И тут пробило четверть — было без четверти двенадцать.

Молодость называется, думал Питер Уолш, проходя. Устроить ужасную сцену (бедная девочка, кажется, сама не своя) и прямо с утра. И с чего бы? — гадал он. Что мог ей сказать этот молодой человек в пальто, чем довел он ее до отчаяния? Что у них, у бедняжек, стряслось? Оба такие потерянные, и в такое дивное утро? Самое забавное, когда возвратишься в Англию после пяти лет отлучки, по крайней мере вначале все видишь будто бы в первый раз; под деревом ссорится парочка; семейные сцены по паркам. Никогда еще не видел он Лондон таким привлекательным

— тающие дали; роскошь; зелень; цивилизация — да, после Индии, думал он, ступая по траве.

Эта его восприимчивость, впечатлительность — конечно, сущее бедствие. В его-то возрасте перепады настроения, как у мальчишки какого-нибудь или даже скорей у девчонки; без всяких причин день — прекрасно, день — скверно; он просто счастлив, когда встретит хорошенькую мордашку, и положительно убит при виде страшилища. Конечно, после Индии тут в каждую встречную можно влюбиться. Свежесть какая; и даже самая бедненькая одета лучше, чем пять лет назад; да, на редкость удачная мода; длинные черные плащи; стройность; изящество; и потом — прелестный этот и, кажется, общий обычай краситься. У каждой женщины, даже самой почтенной, цветут на щеках нежные розы; губы как ножом вырезаны; локоны черны, как тушь; во всем расчет, искусство; да, безусловно имеют место какие-то перемены. И чем, интересно, теперь занята молодежь? — спрашивал себя Питер Уолш.

Наверное, именно за эти пять лет — с 1918-го до 1923-го — многое почему-то существенно изменилось. Люди иначе выглядят. Газеты стали другие. Например, кто-то взял и тиснул в солидной газете

статью, понимаете ли, о ватерклозетах. Десять лет назад о таком и не помышляли: взять и тиснуть статью о ватерклозетах в солидной газете. А эта манера — вынуть из сумочки помаду и пудру и у всех на глазах наводить красоту? Когда он сюда ехал, на пароходе была бездна юнцов и девчонок — особенно он запомнил таких Бетти и Берти, — они флиртовали в открытую; мамаша сидела, вязала, смотрела и бровью не вела. Девчонка пудрила нос у всех на виду. И ведь они не то что жених и невеста; ничуть; просто шалят; и никаких тебе оскорбленных чувств; да, надо сказать, штучка с перцем, эта Бетти — и притом вполне, в общем, ничего. Годам к тридцати будет прекрасной женой — выйдет замуж, когда приспеет пора; выйдет за богача и станет с ним жить-поживать в роскошном доме под Манчестером.

Да, с кем же на самом-то деле так получилось? — спрашивал себя Питер Уолш, сворачивая на Главную аллею. Вышла за богача, живет в роскошном доме под Манчестером? Она еще ему написала недавно длинное, пламенное послание насчет «голубых гортензий». Увидела, мол, голубые гортензии и вспомнила про него, про старые времена — ах, господи, да Салли Сетон, конечно! Салли Сетон — вот уж меньше всего можно было

рассчитывать, что она выйдет за богача и станет жить в роскошном доме под Манчестером, кто-кто, но она-то — отчаянная, непутевая, романтическая Салли!

Правда, из этой братии, из Клариссиных старых друзей — всех этих Уитбредов, Киндесли, Каннинэмов, Кинлох-Джонсов, — Салли, наверное, самая милая. Она хоть старалась разобраться, что к чему. Она хоть раскусила Хью Уитбреда — дивного Хью, — а ведь остальные, в том числе и Кларисса, смотрели ему в рот.

— Уитбреды, — он так и слышит голос Салли. — Да кто они такие, Уитбреды? Торговцы углем. Почтенные торгаши.

Она почему-то не выносила этого Хью. Говорила: ему на все наплевать, кроме собственной внешности. Ему бы, говорила, быть членом королевской фамилии. Вот увидите, он женится на одной из принцесс. И верно — он в жизни не видывал, чтобы кто-то еще, кроме Хью, так истово, набожно, так торжественно преклонялся перед английской аристократией. С этим даже Кларисса принуждена была согласиться. Ах, но зато какая он прелесть, как самоотвержен, бросил охоту, чтоб успокоить старушку мать, не забывает тетушкин день рождения и прочее.

Салли, следует ей отдать должное, не попалась на эту удочку. Как-то воскресным утром в Бортоне — этот случай ему особенно врезался в память — шел спор о правах женщины (допотопная тема), и Салли вдруг вспылила, взорвалась и объявила Хью, что он воплощение самых мерзких черт английской буржуазии. Объявила, что он-де виновен в участи «бедных девушек на Пиккадилли» — и это Хью, безупречный джентльмен, бедняжка Хью! — надо было видеть его ошарашенную физиономию! Она нарочно хотела уязвить Хью, она потом объяснила (они с ней бегали в сад обмениваться впечатлениями). «Он ничего не читает, ничего не думает, ничего не чувствует, — он так и слышит взволнованные обертоны ее голоса, придававшие словам не предусмотренный ею смысл. — Ведь это же не человек — в любом конюхе больше человеческого, — она говорила. — Типичнейшее порождение закрытой школы, — она говорила. — Такое только в Англии уродиться может». Она почему-то не в шутку злилась; имела зуб против Хью; что-то у них получилось — дай бог памяти, — да, в курительной; он ее оскорбил — поцеловал, что ли? Невероятно! Никто не верил, конечно. Естественно. Целовать Салли в курительной!

Хью! Ну, будь это какая-нибудь сиятельная особа — куда бы ни шло; но не оборванку же Салли без гроша за душой, у которой не то отец, не то мать продувается в Монте-Карло. Потому что в жизни он не видывал такого сноба, как Хью. Самый раболепный сноб. Не то чтоб буквально ползать на брюхе; он слишком напыщен для этого. Камердинер высокого класса — да, вот это сравнение в самую точку; который исправно принесет чемоданы, разошлет телеграммы, — незаменим для хозяйки. Ну, и нашел себе службу — женился на своей сиятельной Ивлин; получил местечко при дворе, ведает королевскими погребами, драит пряжки на монарших штиблетах, расхаживает в белых шелковых чулках и кружевных жабо. О, беспощадная жизнь! Местечко при дворе!

Хью женился на своей сиятельной леди, на своей этой Ивлин, и вот они живут где-то тут, кажется (он окинул взглядом внушительные дома, выходящие на парк), он ведь как-то у них даже обедал, и в доме у Хью, как во всех его приобретениях, было что-то нелепое — бельевые чуланы, что ли? Их непременно надо было осматривать; вообще надо было долго восхищаться уж чем придется — бельевыми чуланами, наволочками, старинной дубовой мебелью, картинами, кото-

рые Хью сумел раздобыть по дешевке. Правда, супруга Хью иногда вдруг портила ему музыку. Она была из тех невзрачных мышек, которые ценят в мужчинах рост. Почти пустое место. Но нет-нет, вдруг вставит словцо, и весьма, между прочим, хлесткое. Пережитки аристократизма, по-видимому. Уголь, паровики и топки были для нее немного чересчур — ну, и накаляли атмосферу. И вот живут себе здесь, со своими старыми мастерами и наволочками в настоящих кружевах, проживают пятьдесят тысяч в год, а он, на два года старше Хью, должен выклянчивать хоть какую-то службу.

В пятьдесят три года надо еще просить, чтоб его сунули протирать штаны в учреждении, или обучать мальчишек латыни, или бегать на побегушках у важного чинуши, ради пяти сотен в год; потому что, если он женится, даже с пенсией, на меньше им с Дейзи не продержаться. Наверное, Уитбред сможет его пристроить или Дэллоуэй. Почему б не обратиться к Дэллоуэю? Он вполне ничего; ну, твердолобый; ну, звезд с неба не хватает; верно; но вполне ничего. За что бы ни взялся, во всем деловит и разумен; никакого полета; ни искорки блеска, но — на редкость положительный и милый. Ему бы помещиком

жить — его губит эта политика. Лучше всего он на лоне природы, с лошадьми, с собаками — как хорош он был, например, когда Клариссин этот косматый пес попал в капкан и ему чуть не оттяпало лапу, и Клариссе стало дурно, и все-все взял на себя Дэллоуэй: перевязал, наложил шину; велел Клариссе взять себя в руки. Вот за что, наверное, она и полюбила его, вот что, наверное, и было ей нужно. «Кларисса, милая, возьмите себя в руки. Держите то, принесите это». И все время он разговаривал с собакой как с человеком.

Но как могла она глотать этот бред на тему о поэзии? Слушать, что он нес о Шекспире? Вполне серьезно, с благородным негодованием Ричард Дэллоуэй сообщал, что порядочный человек не должен читать сонетов Шекспира, как не должен подсматривать в замочную скважину (впрочем, и отношений он этих не одобряет). Порядочный человек не пошлет свою жену навещать сестру покойной жены. Даже, ей-богу, не верится! Хотелось забросать его засахаренным миндалем — как раз обедали. Кларисса же слушала, открыв рот; это так честно с его стороны; такая независимость мысли. Господи, уж не сочла ли она его оригинальнейшим из умов, какие ей доводилось встречать, кто ее знает!

Это, между прочим, тоже связывало его с Салли. Они часто гуляли по саду, по той отгороженной части, где были розовые кусты и огромнейшая цветная капуста — помнится, Салли как-то сорвала розу, остановилась, шумно восхищаясь красотой капустных листьев в лунном свете (странно, и как это всплыло все, сто лет ведь не вспоминал), а разговор, конечно, шел о Клариссе. Салли молила его, полушутя, разумеется, умыкнуть Клариссу, спасти от Хью и Дэллоуэев и прочих «безупречных джентльменов», которые «загубят ее душу живую» (Салли тогда целые вороха бумаги исписывала стихами), сделают из нее исключительно хозяйку салона, разовьют ее суетность. Но надо отдать должное Клариссе. За Хью она никогда бы не вышла. У нее было очень четкое понятие о том, что ей нужно. Мало ли что кому она говорила. Очень тонкая и проницательная — по существу-то она куда лучше разбиралась в людях, чем та же Салли, а притом она настоящая женщина; у нее дар, чисто женский дар создавать вокруг себя свой собственный мир, где бы она ни оказалась. Вот она входит в комнату; стоит на пороге, он это часто видел, и кругом полно народу. Но запомните вы непременно Клариссу. Не то чтоб она бросалась в глаза;

не очень красивая даже; ничего в ней особенного; и не скажет она ничего такого уж умного; просто это она; она есть она.

Нет, нет, нет! Конечно. Вовсе он в нее не влюблен! Просто, как увидел ее утром с этими ее ножницами и нитками, за подготовкой к приему, так она и не идет у него из головы; просто она неотвязно наплывает на мысли, как на тебя наплывает, подпрыгивая, пассажир, клюющий носом напротив в купе; это, разумеется, далеко не влюбленность; просто он думает о ней, осуждает ее, он снова, после тридцати лет, пытается в ней разобраться. Самое банальное, что можно о ней сказать — что она суетная; слишком печется о положении, ранге, успехе, и в известном смысле это так и есть; она даже ему сознавалась. (Она всегда сознается вам в своих недостатках, если об этом постараться; она честна.) Она сама говорила, что ей претят распустехи, размазни и разини. Такие, как он, по-видимому; что никто не имеет права слоняться и праздно шататься; что каждый обязан что-то делать, кем-то быть; а обо всех этих важных особах, этих графинях и допотопных старухах герцогинях, которых он видел у нее в гостиной и в которых он лично, хоть убей, не усматривал ровным счетом ни-

чего интересного, она рассуждала совершенно всерьез. Леди Бексборо, она как-то сказала, — несгибаемая (сама Кларисса — тоже: не гнется ни в буквальном смысле, ни в переносном; прямая, как стрела; даже чуть-чуть негибкая). В них, она как-то сказала, есть мужество, которое она с возрастом ценит все больше и больше. Разумеется, тут многое идет от Дэллоуэя; многое от этого шаблонно-гражданственного, великобританского, правительственного и заурядного духа, который, как водится, ее заразил. Вдвое его умней, она на все смотрит глазами Дэллоуэя — тоже один из ужасов брака. С ее умом — вечно цитировать Ричарда, будто трудно тютелька в тютельку угадать, что он подумал, читая сегодняшнюю «Морнинг пост». И приемы свои, кстати, она тоже затевает ради него, верней, ради созданного ею самой образа Дэллоуэя. (Сам-то Ричард, надо отдать ему должное, был бы куда счастливей, займись он сельским хозяйством в Норфолке.) В своей гостиной она сводит нужных друг другу людей; тут у нее просто дар какой-то; сколько раз он наблюдал, как, взявшись за какого-нибудь юнца, она его встряхивает, крутит, заводит, пускает в ход. Вокруг нее толчется, конечно, бездна всякого нудного люда. Но нет-нет и вынырнет вдруг

поразительный человек: то вдруг художник; то писатель; залетные птицы в такой атмосфере. И ведь за всем этим целая кухня — визиты, карточки, благодеяния, букеты, подарки; такой-то едет во Францию, ему срочно необходима надувная подушка; сколько сил ухлопывается на бесконечную эту возню у дам с ее положением; но у Клариссы-то все искренне, все от естественной внутренней потребности.

Странно, она ведь чуть не самый отъявленный скептик, каких ему только приходилось встречать, а возможно (эту теорию он некогда сочинил, чтоб объяснить себе Клариссу — в чем-то такую понятную, а в чем-то непостижимую), возможно, она сказала себе: «Раз мы обреченное племя, прикованное к тонущему кораблю (ее любимые авторы в детстве были Гексли и Тиндаль[16], а уж они обожают морские метафоры), раз дело дрянь, надо, по крайней мере, исполнять свою роль — облегчать мучения собратьев-узников (снова Гексли), украшать застенок цветами и надувными подушками; быть как можно пристойней. Нет, не выйдет у негодяев-богов все как им заблагорассудится, потому что боги, по ее понятиям, никогда

16 Примечания: 16

Гексли Томас Генри (1825–1895) — английский естествоиспытатель; *Тиндаль Джон* (1820–1893) — английский физик.

не упустят случая напакостить, испортить человеку жизнь, но всерьез теряются, если все-таки ты ведешь себя как настоящая леди». Это пошло у нее сразу после смерти Сильвии — чудовищная история. Видеть, как на твою родную сестру валится дерево (все Джастин Парри виноват — все его ротозейство) и она умирает прямо у тебя на глазах, совсем девочка и самая, Кларисса всегда говорила, из них одаренная, — тут поневоле ожесточишься. Потом-то, пожалуй, она поутихла; сочла, что нет никаких богов; винить некого; и отсюда эта ее атеистическая религия — делать добро ради самого добра.

И, конечно, она удивительно любит жизнь, радуется жизни. В природе ее — радоваться (хотя, кто ж ее знает, что там творится у нее в глубине души; это всего лишь эскиз, наметка, и даже ему, после стольких лет, не дано полней очертить характер Клариссы). Во всяком случае, ожесточенности нет в ней; нет совершенно той нравственной добродетели, которая в хороших женщинах так нестерпима. Она наслаждается положительно всем. Если идти с ней по Гайд-Парку, она залюбуется клумбой с тюльпанами, умилится детской колясочкой и с ходу, из ничего, создаст потешную сценку (скорей всего, она

завела б разговор с этой ссорящейся парочкой, если б решила, что им плохо). Удивительно у нее развито чувство комического, но ей вечно нужны люди, люди для постановки спектаклей, и в результате она тратит время по пустякам, на завтраки, на обеды, устраивает бесконечные свои приемы, болтает вздор, говорит, чего не думает; и притупляет остроту своего ума, теряет критерии. Она может сидеть во главе стола и лезть из кожи вон, ублажая какого-нибудь старого болвана, нужного Дэллоуэю — и где они только, ей-богу, откапывают таких, — но входит Элизабет, и все подчиняется ей. Когда он тут был прошлый раз, она училась в школе, в каком-то там классе — пучеглазая, бледная девочка, ничего не взяла от матери, молчаливое, флегматическое создание, принимала как должное, что мать вокруг нее пляшет, а потом спросила: «Мне можно уйти?» — будто она четырехлетнее дитятко; пошла, как Кларисса объяснила с той смесью веселого недоумения и гордости, какие вызывал в ней, кажется, и сам Ричард, играть в хоккей. А теперь Элизабет, наверное, «выезжает», его сочла старым пентюхом, посмеивается над материнскими склонностями. Ладно, пусть. Утешение старости, думал Питер Уолш, выходя из Риджентс-Парка

со шляпой в руке, в том-то и состоит: страсти в нас ничуть не слабеют, но обретаешь — наконец-то! — способность, в которой самая изюминка и есть — способность овладеть пережитым, ухватить его и медленно, медленно поворачивать на свету.

В таких вещах даже страшно сознаваться (он снова надел шляпу), но теперь, в свои пятьдесят три, он почти не нуждается в людях. Сама жизнь, каждый миг ее, каждая капля, — вот то, что сейчас, тут, Риджентс-Парк, солнце — и спасибо. И чересчур даже много. И всей жизни не хватит, оказывается, чтоб уж научиться как следует наслаждаться этой изюминкой; выжимать каждую унцию радости; все оттенки смысла; ибо и то и другое раскрывается нам, наконец, в невыдуманной серьезности, не то что когда-то. Теперь уж он не будет страдать, как когда-то из-за Клариссы. Между прочим, часами подряд (господи, какое счастье, что никто не может подслушать его мыслей), часами и днями он думать не думал о Дейзи.

Возможно ли? Вспоминая ужас и муку, чудовищную тоску тех дней — он все же влюблен? Да, теперь-то дело другое — и куда приятней, — теперь уж *она* влюблена. И потому, вероятно, когда

отчалил-таки пароход, он ощутил невыразимое облегчение и единственное желание — побыть одному, и его раздражали ее милые знаки внимания — сигары, плед и записочки, обнаруженные в каюте. И каждый, если только он честен, вам то же скажет; после пятидесяти люди уже не нужны; после пятидесяти надоедает твердить женщинам, какие они хорошенькие; это вам каждый скажет, кому за пятьдесят, думал Питер Уолш, если только он честен.

Ну, а эти приступы чувствительности — утренние слезы — как прикажете понимать? Что подумала о нем Кларисса? Сочла, вероятно, кретином, и не впервые. В основе всего лежит ревность, ревность — самое прочное из чувств человеческих, думал Питер Уолш, держа перочинный нож в вытянутой руке. Дейзи в последнем письме написала, что виделась с майором Одом; написала, он был уверен, нарочно, чтоб заставить его ревновать; он видел воочию, как она морщит лоб над письмом, прикидывая, чем бы его уязвить. И все равно. Он разъярился! Всю эту суетню — поездку в Англию, встречу с адвокатами — он затеял не ради того, чтоб на ней жениться, а чтоб не дать ей выйти за кого-то другого. Вот что его мучило, вот что он понял, пока смотрел на Клариссу, спо-

койную, холодную, сосредоточенную на своем платье, или что там она еще штопала; и видел со стороны — могла бы, кажется, пощадить, не доводить его до такого, — как сам он хлюпает, шмыгает носом, старый осел. Женщинам вообще, подумал он и защелкнул нож, не понять, что такое любовь. Им не понять, что значит она для мужчины. Кларисса холодна, как ледышка. Сидела рядом на кушетке, позволила взять ее за руку, чмокнула в щеку… А, вот и переход.

Его отвлек звук; жидкий, зыбкий звук; голос тек, без направления, напора, без конца и начала, и вливался, слабо и пронзительно-тоненько и без всякого смысла в

и… у… лю… ня…

да и го… и… шки…

голос без возраста, пола, голос древней струи, бьющей из-под земли; и шел он — прямо напротив станции метро «Риджентс-Парк» — из тени, зыбкой, высокой, шел, как из воронки, как из ржавого насоса, как из голого навеки безлистого дерева, когда буря щиплет ветви и оно поет:

и… у… лю… ня…

да и го… и… шки…

и скрипит, и никнет, и стонет от вечного ветра.

Века и века — когда мостовая была еще лугом, болотом, во времена еще бивней и мамонтов, во времена немых зорь, — обтрепанная женщина (ибо тень была в юбке), протягивая правую руку, а левую прижимая к груди, стояла и пела про любовь, любовь, которой мильоны лет, она пела, и нет ей конца, и мильоны лет назад любимый (давно он в могиле лежит) гулял, она пела, вместе с нею по маю; но миновали века, пробежали, как летние дни, и не стало его, и горят только красные астры; смерть ужасным серпом скосила безмерные горы, и когда сама она припадет старой-старой, седой головою к земле — к заледенелому пеплу, — она попросит богов положить рядом с нею охапку лилового вереска, сюда, к ней положить, на могильный курган, пригретый последней лаской последнего солнца; и тогда только кончится праздник.

Старинная песня журчала перед станцией метро «Риджентс-Парк», земля же тем временем свежо зеленела и пестрела; и хоть эта песня вырывалась из столь, страшных уст — будто из ямы в земле, грязной, заросшей травой и корнями, — а однако ж, урчала, журчала, клубилась,

пробивалась сквозь путла корней и веков, сквозь скелеты и клады, и расплескивалась ручьями по мостовой, по Мэрилебон-Роуд, и текла дальше к Юстону, и удобряла почву, оставляя лужи.

Этот май, этот доисторический май, когда она гуляла с любимым, эта старая, жалкая (ржавый насос) будет помнить и через десять мильонов лет и будет все так же стоять, простирая правую руку за медяками, а левую прижимая к груди, и петь, как гуляла когда-то по маю, там, где теперь разливается море, гуляла — с кем, не спрашивайте, с мужчиной, о! с мужчиной — и он любил ее. Долгие годы, однако ж, затуманили ясность того древнего майского дня; цветы побило морозом; и она уже не видела, моля (мольба как раз была очень отчетлива): «Посмотри в глаза мне нежным взглядом», уже не видела ни карих глаз, ни бачков, ни загорелой физиономии, а лишь зыбкий, тающий образ, и к нему-то она обращала старчески щебечущее: «Дай мне руку, сядь со мною рядом» (Питер Уолш не удержался и, влезая в такси, сунул бедняге монету) и «Пусть смотрят, пусть видят, не все ли равно?» — вопрошала она, и прижимала к груди кулак, и улыбалась, пряча шиллинг в карман, а любопытные взгляды стирались, вычеркивались, а проходящие поколения

— кругом мельтешили и толклись горожане — исчезали, как листья, чтобы мокнуть и преть, становясь перегноем для той вечной весны.

И… у… лю… ня…

да и го… и… шки…

— Бедная старуха, — сказала Реция Уоррен-Смит.

Надо ж дойти до такого, думала она, ожидая у перехода.

А вдруг ночью дождь? Вот будешь так стоять, а мимо пройдет твой отец или кто-то, кто знал тебя в лучшие дни, и увидит, до чего докатилась… И где она спит по ночам?

Бодро, весело даже, неукротимая ниточка песни вплеталась в день, как сельский дымок вплетается в чистую зелень буков, чтоб потом синей пасмой выбиться из-под верхних листьев. «Пусть смотрят, пусть видят, не все ли равно?»

С тех пор как стало ей плохо, вот уже несколько недель, Реция сделалась ужасно чувствительная, все на нее действовало, буквально все, иногда ей просто хотелось остановить кого-то на улице, кого-то хорошего, доброго с виду, и сказать: «Мне плохо»; но когда она услышала, как старуха поет: «Пусть смотрят, пусть видят, не все ли равно?»

— она вдруг поняла, что все будет хорошо, они придут к сэру Уильяму Брэдшоу, у него даже фамилия приятная, и он сразу вылечит Септимуса. А рядом стояла подвода пивовара, у пегих битюгов в хвостах торчала солома; а дальше висели газеты. Ерунда, ей просто почудилось, будто ей плохо.

И они перешли улицу — мистер и миссис Уоррен-Смит, — и кто из прохожих догадался бы, что этот молодой человек несет избавление миру и вдобавок он счастливейший человек на земле и самый несчастный? Возможно, шли они несколько медленнее других, и молодой человек ступал как-то нехотя и с запинками, но это естественная походка для служащего, годами не наведывавшегося по будням в этот час дня в Уэст-Энд, и потому он поглядывает в небо, озирается туда-сюда, будто Портленд-Плейс — зала, куда он вошел, когда хозяева дома в отъезде, и люстры раскачиваются в чехлах, и смотрительница, приподняв уголок длинной шторы и пустив пыльный луч к сиротливому, на себя не похожему креслу, объясняет посетителям, как тут чудесно, да, в самом деле чудесно, но как-то странно, однако, думает он.

С виду он и был похож на служащего, правда служащего высшего класса; у него были желтые

ботинки; руки интеллигентного человека; тоже и профиль — резкий, носатый, умный и тонкий профиль; но губы подкачали, губы были расшлепанные; а глаза (это с глазами часто) были просто глаза и глаза — большие, карие; так что, в общем, неясно, куда его отнести — ни то ни се; такой может в конце концов зажить в своем доме на Поли и обзавестись машиной, а может всю жизнь проболтаться по меблирашкам; из тех недоучек, самоучек, которые все образование черпают из библиотечных книжек и читают их вечером, после работы, согласно советам известных писателей, выпрашиваемым по почте.

Что же до всех прочих переживаний, которые каждый одолевает в одиночку, в спальне, за рабочим столом, бродя по полям, и лугам, и по лондонским улицам, — они были у него; совсем мальчишкой он ушел из дому, из-за матери; она лгала; потому что он в сотый раз вышел к чаю, не вымывши рук; потому что в Страуде, он это понял, для поэта не было будущего; и вот он посвятил в свой замысел только сестренку и сбежал в Лондон, оставив родителям нелепую записку, какие пишут все великие люди, а мир читает только тогда, когда уже притчей во языцех сделается история их борьбы и лишений.

Лондон заглатывал миллионами молодых людей по фамилии Смит; не принимал во внимание невообразимых имен, вроде имени «Септимус», какими родители надеялись выделить их из множеств. Если вы снимаете комнату за Юстон-Роуд, переживаний у вас достаточно, чтоб у вас изменилось лицо и за два года из наивно-розового овала превратилось в лицо тощее, угрюмое и неприязненное. И однако, что мог бы сказать чуткий и наблюдательный друг? Да то же, что скажет садовник, открыв поутру дверь теплицы и обнаружив там новый цветок. Он скажет: «Расцвел». Расцвел из суеты, тщеславия, выспренности, страсти, тоски, дерзновения и лени, обычного семени; все смешалось (в комнате за Юстон-Роуд), и он сделался робок, стал заикаться, решил исправиться, усовершенствоваться и влюбился в мисс Изабел Поул, которая читала лекции о Шекспире на Ватерлоо-Роуд.

«Ведь он похож на Китса?» — спрашивала она и решала, как бы приохотить его к «Антонио и Клеопатре» и прочему, давала ему книжки — почитать; писала незначащие записочки и зажгла в нем костер, какой лишь однажды в жизни горит; лишенный жара, дрожащий, красно-желтый, безмерно воздушный, эфемерный костер пылал

над мисс Поул, «Антонием и Клеопатрой», над Ватерлоо-Роуд. Он считал ее красавицей, непогрешимой в суждениях; она снилась ему по ночам; он сочинял ей стихи, которые, не догадываясь об адресате, она правила красными чернилами. Однажды вечером, летом, он видел, как она в зеленом платье брела по бульвару. «Расцвел», — сказал бы садовник, случись ему тогда открыть дверь и застать его там, где бывал он каждую ночь — за письменным столом; он писал и рвал написанное; он кончал шедевр к трем часам утра и выбегал бродить по улицам, и сегодня он посещал церкви и постился, а завтра он пьянствовал, и он глотал Шекспира, Дарвина, «Историю цивилизации» и Бернарда Шоу.

Тут что-то не так — мистер Брюер сразу смекнул; мистер Брюер, заведующий конторой у Сибли и Эрроусмитов, аукционистов, экспертов-оценщиков, агентов по продаже недвижимости; тут что-то не так, думал мистер Брюер, и, относясь отечески к своим юношам и будучи высокого мнения о данных Смита, пророча ему годиков этак через десять-пятнадцать кожаное кресло в кабинете среди карточек, — «если здоровье позволит», оговаривался мистер Брюер, да, тут-то и была закавыка, Смит был хилый, — мистер Брюер

ему рекомендовал футбол, приглашал ужинать и обдумывал, как бы ходатайствовать о повышении ему жалованья, когда разразилось такое, что спутало все расчеты мистера Брюера, отняло у него лучших молодых людей, а вдобавок — от этой ужасной войны никуда не денешься — разбило гипсовую статую Цереры, вспахало клумбу с геранями и вконец расстроило нервы кухарке мистера Брюера — дома, на Максуэлл-Хилл.

Септимус в числе первых записался добровольцем. Он отправился во Францию защищать Англию, сводимую почти безраздельно к Шекспиру и бредущей в зеленом платье по бульвару мисс Изабел Поул. Там, в окопах, мигом исполнились пожелания мистера Брюера, рекомендовавшего футбол и перемену обстановки. Септимус возмужал; получил повышение; снискал внимание, даже дружбу своего офицера по имени Эванс. Это была дружба двух псов у камелька: один гоняет бумажный фунтик, огрызается, скалится и нет-нет да и тяпнет приятеля за ухо, а тот лежит, старичок, сонно, блаженно, мигает на огонь, слегка шевелит лапой и урчит добродушно. Им хотелось бывать вместе, изливаться друг другу, спорить и ссориться. Но когда Эванс (крепкий, рыжий, скромный с женщинами, Реция видела

его всего раз, и она говорила про него: «Такой тихий»), когда Эванс был убит, перед самым перемирием, в Италии, Септимус не стал горько сетовать и тужить по прерванной дружбе и поздравил себя с тем, что так разумно отнесся к известию и почти ничего не чувствует. Война кой-чему научила его. Вот и роскошно. Он всего понавидался, хлебнул достаточно — война, дружба, смерть, — получил повышение, ему нет тридцати, умирать еще рановато, по-видимому. Тут он не ошибся. Последние снаряды не попадали в него. С совершенным безразличием он следил, как они разрываются. Заключение мира застало его в Милане, на постое у хозяйки гостиницы, в доме, где был внутренний дворик, цветы в кадках, столики под открытым небом, дочки — шляпные мастерицы и Лукреция, младшая, к которой он посватался как-то вечером, когда на него накатил ужас из-за того, что он не способен чувствовать.

Война кончилась, подписали мир и закопали мертвых, а на него, особенно вечером, часто накатывал нестерпимый страх. Он не способен чувствовать. Открывая дверь комнаты, где итальяночки делали шляпки, он видел их: он слышал их; они натачивали проволочки среди цветных

бусинок, разложенных на поддонах; они так и сяк вертели коленкор; стол был завален перьями, стеклярусом, нитками, лентами; порхали и щелкали ножницы над столом; но чего-то не хватало Септимусу; он ничего не чувствовал. Однако же смех девушек, щелканье ножниц, изготовление шляпок его завораживали; он чувствовал себя в безопасности; у него было прибежище. Но не мог же он тут оставаться ночь напролет. Он просыпался ни свет ни заря. Кровать проваливалась куда-то; сам он проваливался. Ох, где вы — щелканье ножниц, лампа и коленкор! Он предложил руку и сердце Лукреции, младшей, веселой, бездумной. У нее были тонкие пальчики мастерицы, она показывала их ему, говорила: «Здесь у меня — все». Шелк, перья, что хотите — в этих пальчиках все оживало.

— Самое первое дело — шляпка, — говорила она, когда они вместе гуляли по улицам. Она смотрела на каждую встречную шляпку; и на плащ, и на платье, и на то, как держится женщина. Нерях и разряженных она клеймила, раздраженно отмахиваясь от них, как художник отмахивается от заведомой, кричащей, наивной подделки; великодушно, не без критических замечаний встречала какую-нибудь продавщицу, повязав-

шую нарядно простую косынку, и восторженно, с робким почтением знатока, обмирала при виде богатой француженки, выходящей из экипажа в шелках, шеншилях, жемчугах.

— Красиво! — шептала она и подталкивала локотком Септимуса. Но красота была под матовым стеклом. Даже вкусные вещи (Реция обожала шоколад, мороженое, конфеты) не доставляли ему удовольствия. Он ставил чашечку на мраморный столик. Смотрел в окно на прохожих; они толклись на мостовой, кричали, смеялись, легко перебранивались — им было весело. А он ничего не чувствовал. В кафе, среди столиков и болтовни официантов его охватывал тошный страх: он не способен чувствовать. Мыслить он мог — читать, например, Данте — совершенно свободно («Септимус, да оставь же ты свою книжку», — говорила Реция, ласково закрывая «Inferno»[17]); он умел проверять счета; мозг работал исправно, — значит, в мире есть что-то такое, раз он не способен чувствовать.

— Англичане ужасно молчаливые, — говорила Реция. Ей, она говорила, это даже приятно. Она уважала англичан, она мечтала увидеть Лондон,

---

17 Примечания: 17

«Ад» — первая часть «Божественной комедии» Данте *(ит.)*

и английских лошадей, и английские костюмы, и там магазины такие, ей еще тетя рассказывала, которая вышла замуж и уехала жить в Сохо.

Очень возможно, думал Септимус, глядя на Англию из окна поезда, когда они ехали из Ньюхейвена, очень возможно, что мир вообще бессмыслен.

На службе ему сразу дали весьма ответственную должность. Им гордились. Он отличился на войне.

— Вы исполнили свой долг; теперь уж нам… — начал мистер Брюер; и он не мог кончить фразу, настолько отрадные на него нахлынули чувства. Молодые заняли уютную квартирку на Тоттенхем-Корт-роуд.

Здесь он снова раскрыл Шекспира. Мальчишество, обморочное опьянение словами — «Антоний и Клеопатра» — безвозвратно прошло. Как ненавидел Шекспир человечество, которое наряжается, плодит детей, оскверняет уста и чрево! Наконец-то Септимус понял, что скрыто за прелестью слов. Тайный сигнал, передаваемый из рода в род, — ненависть, отвращение, отчаяние. Таков и Данте. Таков же (в переводе) Эсхил. А Рения сидела у стола и делала шляпки. Она делала шляпки для приятельниц миссис Филмер; делала

их часами. Бледная, загадочная, как лилия, как лилия под водой, думал он.

— Англичане ужасно серьезные, — говорила она, обнимая Септимуса, прижимаясь щекою к его щеке.

Любовь мужчины и женщины внушала омерзение Шекспиру. Совокупление ему под конец казалось развратом. А Реция говорила, что ей хочется ребеночка. Они уже пять лет как поженились.

Они вместе ходили в Тауэр; в Музей Виктории и Альберта; ждали в толпе, когда король откроет парламент. И были еще магазины; шляпные магазины, магазины одежды, магазины, где в витринах стояли кожаные сумочки, и на них засматривалась Реция. Но ей хотелось мальчика.

Ей хотелось сына, в точности как Септимус. Только не бывает как Септимус; он такой ласковый и серьезный, такой умный. Может, и ей почитать Шекспира? Он трудный? — спрашивала она.

Нельзя обрекать детей на жизнь в этом мире. Нельзя вековечить страдания и плодить похотливых животных, у которых нет прочных чувств, одни лишь порывы, причуды, швыряющие их по волнам.

Он следил, как она щелкает ножницами, кроит. Так следят за птичкой в траве, боясь шелохнуться. Потому что на самом-то деле (только б она не узнала) люди заботятся лишь о наслаждении минутой, а на большее нет у них ни души, ни веры, ни доброты. Они охотятся стаями. Стаи рыщут по пустырям и с воем несутся в пустыни. И бросают погибших. На них маски, маски лгут. На службе — Брюер с нафабренными усами, коралловой булавкой, с белым галстуком и отрадными чувствами, а внутри холодный и липкий — герани у него погибли из-за войны, у кухарки расстроены нервы; или эта Берта, как бишь ее фамилия; ровно в пять разносит в чашечках чай, и косится, и скалится — ведьма; а сотруднички в крахмальных манишках, жирно лоснящихся пороком; посмотрели бы, как он их, поймав с поличным, разделывает с натуры в блокноте. По улице мимо него грохочут фургоны; жестокость вопит с плакатов; мужчин подрывают на минах, женщин сжигают заживо; а как-то шеренгу увечных безумцев вели не то погулять, не то напоказ народу (народ хохотал до слез), и они, кивая и скалясь, ковыляли по Тоттенхем-Корт-роуд, и каждый чуть-чуть виновато, но с торжеством демонстрировал свои муки. Самому бы не спя-

тить…

За чаем Реция сказала, что дочь миссис Филмер ожидает ребеночка. Ну, а она тоже не может, не может дольше жить без детей! Ей так скучно, так плохо. В первый раз с тех пор, как они поженились, Реция плакала. Далеко-далеко он слышал ее плач; слышал ясно, отчетливо; сравнивал с шелестом поршня. Но он ничего не чувствовал.

Жена плакала, а он ничего не чувствовал; только каждый раз, когда она всхлипывала — тихо, горько, отчаянно, — он еще чуть-чуть глубже проваливался в пропасть.

Наконец, шаблонно-трагическим жестом, вполне сознавая его неискренность, он уронил голову на руки. Он рухнул; пусть его кто-то спасает; пусть за кем-то пошлют. Он сдался.

Он не слушал, не отвечал Реции. Она уложила его в постель. Вызвала доктора — доктора Доума, он лечил миссис Филмер. Доктор Доум его осмотрел. И не нашел абсолютно ничего серьезного. Ох, какое счастье! Какой добрый, хороший человек! — думала Реция. Когда сам он расклеивается, он идет в мюзик-холл, объяснял доктор Доум. Или берет выходной и играет в гольф. И почему бы не попробовать две облаточки снотворного на стаканчик воды перед сном? «Эти старые дома в

Блумсбери, — говорил доктор Доум и обстукивал стены, — часто обшиты дивными панелями, а хозяева сдуру клеят на них обои. Не далее как вчера, навещая пациента, сэра Такого-то на Бедфорд-Сквер…»

Итак, прощения нет; с ним абсолютно ничего серьезного, только грех, за который человеческая природа его осудила на смерть: он ничего не чувствует. Он не пожалел убитого Эванса, это хуже всего; но и прочие мерзкие вины глумливо, гневливо трясли головами с изножия кровати в рассветные часы и кивали на простертое тело, терзаемое сознанием позора и непоправимости содеянного; он женился не любя; обманул свою жену; соблазнил ее; он оскорбил мисс Изабел Поул, он так загажен пороком, что от него отшатываются встречные женщины. Человеческая природа приговаривает таких тварей к смерти.

Доктор Доум пришел еще раз. Рослый, свежий, видный, щелкая каблуками, глядясь в зеркало, он все отмел — головные боли, плохой сон, страхи, кошмары, — все это нервное переутомление, и только. Стоит самому доктору Доуму хоть чуть-чуть похудеть, когда он весит хоть чуть-чуть меньше восьмидесяти килограммов, он тут же просит у жены вторую тарелочку овсяной каши

на завтрак (Реция должна научиться варить овсяную кашу). Но, доктор Доум развивал свою мысль, наше здоровье всецело в наших руках. Надо чем-то отвлечься. Завести себе хобби. Он поддел страничку Шекспира — «Антоний и Клеопатра»; типичное не то. Да, хобби, доктор Доум развивал свою мысль, ибо не обязан ли он лично превосходным здоровьем (а ведь трудится, кажется, он не меньше других) тому факту, что он всегда переключается с пациентов на старинную мебель? И какая, однако же, он позволит себе заметить, милая гребеночка у миссис Смит в волосах!

Когда проклятый болван в третий раз заявился, Септимус не пожелал его видеть. Да неужто? — спросил доктор Доум, любезно осклабясь. И просто немыслимо было не потрепать по плечу эту миленькую миссис Смит, проходя мимо нее в спальню к мужу.

— Ну-с, хандрим, а? — любезно осведомился мистер Доум, усаживаясь у постели больного. Неужто он говорил о самоубийстве своей жене, совсем еще девочке, и ведь она иностранка, не так ли? Что же должна подумать бедняжка об английских мужьях? И как же насчет чувства долга — супружеского долга? И может быть, чем лежать в постели, нам лучше заняться каким-

нибудь делом? У него, слава Богу, сорокалетний опыт. И пусть Септимус поверит на слово доктору Доуму: с ним абсолютно ничего серьезного! И доктор Доум высказал надежду, что, когда он придет в следующий раз, Септимус уже не будет лежать в постели и зря волновать свою прелестную женушку.

Итак, человеческая природа восторжествовала — отвратительное чудище с кровавыми ноздрями. Доум восторжествовал. Доктор Доум аккуратно являлся каждый день. «Стоит зазеваться, — записал Септимус на открытке, — и человеческая природа тебя одолеет». Доум одолеет. Остается бежать и чтобы Доум не проведал. В Италию, к черту на рога, куда глаза глядят, только подальше от доктора Доума.

Но Реция не хотела его понять. Доктор Доум — такой чудный человек. Он так внимателен к Септимусу. Он говорит, он очень хочет ему помочь. У него четверо детей, и он приглашал ее к чаю, она говорила Септимусу.

Итак, его предали. Все на свете орало: «Убей себя, убей себя ради нас!» Но с какой стати, спрашивается, себя убивать ради них? Еда вкусная, солнце греет. Да и как за это взяться? Как себя убьешь? Столовым ножом? Противно, реки

крови. Пустить газ? Нету сил, трудно даже руку поднять. К тому же, раз он покинут, приговорен, одинок, как одиноки все умирающие, в его отъединенности — роскошь, величие; свобода, которой не знают все прочие. Конечно, Доум победил. Чудище с красными ноздрями победило. Но даже и Доуму не добраться до этих останков на краю света, до изгнанника, который озирается с тоской на пустую землю, до утонувшего матроса, выброшенного на берег мира.

И вот тут-то (Реция ушла за покупками) и было ему великое откровение. Голос заговорил с ним из-за ширмы. Это Эванс. Вокруг были мертвые.

— Эванс! Эванс! — кричал он.

Служанка Агнес кричала миссис Филмер на кухне:

— Мистер Смит говорит сам с собой!

Он кричал: «Эванс! Эванс!» — когда она внесла к нему поднос. Она прямо вся задрожала. Через две ступеньки сбежала по лестнице.

А Реция пришла с цветами, перешла комнату, и сунула розы в вазу, рассеченную солнечным лучом, и стала смеяться и скакать по комнате.

Пришлось купить розы, объясняла Реция, у одного бедняжки на улице. Но они почти совсем завяли, говорила она, расправляя розы.

Ах, значит, на улице кто-то стоит. Наверное, Эванс. И розы, которые, Реция говорит, почти совсем завяли, он, конечно, сорвал в Греции на лугах. Приобщение — это здоровье, приобщение — это счастье. «Приобщение…» — бормотал он.

— Септимус, да ты что? — обмерла Реция, потому что он говорил сам с собой.

Она послала Агнесу за доктором Доумом. Бегом, сказала она. Муж сошел с ума. Даже ее не узнает.

— Сволочь! Сволочь! — кричал Септимус, видя, как человеческая природа, то есть доктор Доум, входит в комнату.

— Ну, что там у нас стряслось? — справился доктор Доум наилюбезнейшим голосом. — Порем глупости, пугаем жену?

Но лично он дал бы ему, пожалуй, снотворного. И, если, конечно, они люди богатые (доктор Доум не без иронии обвел комнату взглядом), пусть обратятся к светилам на Харли-стрит. Если, конечно, они ему не доверяют, сказал доктор Доум, и лицо у него при этом было не такое уж доброе.

Было ровно двенадцать; двенадцать по Биг-Бену, бой которого плыл над северной частью Лондона, сплавлялся с боем других часов, нездешне и нежно смешивался с облаками и с клочьями дыма и летел вдаль, к чайкам — пробило ровно

двенадцать, когда Кларисса Дэллоуэй положила на кровать зеленое платье, а Уоррен-Смиты шли по Харли-стрит. Им было назначено ровно в двенадцать. Наверное, подумала Реция, этот дом, где серый автомобиль, и есть дом сэра Уильяма Брэдшоу. (Свинцовые круги побежали по воздуху.)

И в самом деле, то был автомобиль сэра Уильяма Брэдшоу — низкий, мощный, серый и украшенный лишь простым плетением вензеля по стеклу, словно бы геральдическая пышность не пристала хозяину — целителю духа, жрецу науки; и коль скоро автомобиль был сер, то и в тон к этой вкрадчивой сдержанности серые меха, серебристо-серые пледы помещались внутри, дабы согревать ее сиятельство в часы ожидания. Ибо нередко сэру Уильяму Брэдшоу приходилось удаляться от Лондона на шестьдесят миль и более, с тем чтобы навещать богатых и страждущих, которым по средствам был весьма внушительный гонорар, справедливо назначаемый сэром Уильямом за его предписания. Ее сиятельство, бывало, по часу и дольше ждала окончания визита, окутав пледом колени, раскинувшись, размышляя — порою о пациенте, порою же, вполне натурально, о той золотой стене, которая от минуты к минуте росла, покуда она ждала окончания визита, о

золотой стене, которая отделяла ее сиятельство от всех тревог и превратностей (она их храбро сносила; им с мужем тоже пришлось хлебнуть), отделяла от тревог и превратностей, покуда ее не вынесло наконец-то в тихие воды, где веют пряные ветры; там почет, восхищение, зависть, и желать больше нечего, и единственно жалко фигуру; там приемы по четвергам для коллег и благотворительные базары; там члены королевской фамилии; и — увы! — так мало времени она с мужем наедине, он безумно, безумно занят; и мальчик прекрасно учится в Итоне; ей, правда, хотелось и девочку; хотя она и сама занята: попечительство в детских приютах; выхаживание эпилептиков и — фотография, фотография, ибо, если ей попадалась недостроенная церковь или, скажем, обветшалая церковь, она всегда подкупала сторожа, брала у него ключ и делала снимки, которые просто не отличишь от профессиональных, — покуда она ждала окончания визита.

Сам сэр Уильям был уже немолод. Он очень много работал; достигнутым положением он был всецело обязан своим дарованиям (будучи сыном лавочника); он любил свое дело; на церемониях он весьма представительно выглядел; он умел говорить — и в результате всего вместе взятого к

тому времени, как он получил дворянство, у него был тяжелый взгляд, утомленный взгляд (ибо поток пациентов не прекращался, профессия же налагала весьма обременительные обязанности и права), и утомленность эта, вкупе с сединой, усугубляла редкую внушительность облика и создавала репутацию (весьма для лечения нервных болезней не лишнюю) не только блистательного врача и непогрешимо точного диагноста, но и человека сострадательного, человека тактичного, способного тонко понять чужую душу. С первой же секунды, как они вошли в кабинет (их звали Уоррен-Смиты), тотчас же, как он увидел юнца, он понял: чрезвычайно тяжелый случай. Случай полного расстройства, полного физического и нервного расстройства, и случай запущенный, он установил все симптомы запущенного случая за две-три минуты (пока заносил, бормоча их под нос, ответы пациента в красную карточку).

Сколько времени его лечил доктор Доум?

Шесть недель.

Прописал снотворное? Сказал, что не находит абсолютно ничего серьезного? Угу. (Ох уж эти мне терапевты! — подумал сэр Уильям. Половина времени уходит на распутывание их ошибок. Иные же непоправимы.)

— Вы отличились на войне?

Пациент повторил «на войне?» с вопросительной интонацией.

Он придает словам особый смысл. Занести в карточку: очень важный симптом.

— На войне? — спросил пациент. Мировая война. Потасовка мальчишек с употреблением пороха. Отличился он или нет? Он просто забыл. Он скверно служил на войне.

— Да нет же, он отличился, — уверяла доктора Реция. — Он повышение получил.

— И на службе о вас весьма высокого мнения? — бормотнул сэр Уильям, заглянув в письмо мистера Брюера, не жалевшего слов. — Так что у вас никаких огорчений, ни финансовых трудностей, ничего такого?

Он совершил страшное преступление и приговорен человеческой природой к смерти.

— Я… я… — начал он, — совершил преступление…

— Он ничего-ничего плохого не сделал, — уверяла доктора Реция. Если мистер Смит подождет, сказал сэр Уильям, он переговорит с миссис Смит в соседней комнате. Ее муж серьезно болен, сказал сэр Уильям. Не грозил ли он покончить с собой?

Ох, да, да! — крикнула она. Но это он просто так, сказала она. Разумеется. Это лишь вопрос отдыха, сказал сэр Уильям. Отдых, отдых и отдых. Длительный отдых в постели. Есть превосходный загородный дом, где ее мужу обеспечат отличный уход. Его у нее заберут? — спросила она. Увы — да. Общество самых дорогих нам людей не полезно для нас, когда мы больны. Но он ведь не сумасшедший, правда же? Сэр Уильям ответил, что ни о каком «сумасшествии» он не говорит. Он называет это нарушением чувства пропорций. Но ее муж не любит докторов. Он туда не пойдет, он откажется. Коротко, мягко сэр Уильям разъяснил положение вещей. Ее муж грозился покончить с собой. Выбора нет. Тут уж вопрос закона. Ее муж будет лежать в постели, в прекрасном загородном доме. Там превосходные сестры. Сэр Уильям еженедельно будет его навещать. Если миссис Смит совершенно уверена, что у нее больше нет никаких вопросов — он никогда не торопит своих пациентов, — можно возвратиться в кабинет, к ее мужу. У нее больше не было вопросов — вопросов к сэру Уильяму.

И они возвратились в кабинет, где ждал их возвышеннейший из людей; преступник на скамье подсудимых; жертва, вознесенная к небесам;

странник; утонувший матрос; творец бессмертной оды; Господь, смертию жизнь поправший; Септимус Уоррен-Смит ждал их, сидя в кресле под стеклянным потолком, уставясь на фотографию леди Брэдшоу в придворном туалете и бормоча откровения о красоте.

— Мы кое о чем переговорили, — сказал сэр Уильям.

— Он говорит, ты очень, очень болен, — крикнула Реция.

— Мы договорились, что вас следует поместить в один дом, — сказал сэр Уильям.

— Уж не к Доуму ли в дом? — усмехнулся Септимус.

Юнец производил отвратное впечатление. Ибо сэр Уильям (сын лавочника) питал врожденное почтение к породе, одежде, и он терпеть не мог обдрипанности; и опять-таки в глубине души сэр Уильям, не имея на чтение времени, питал затаенную неприязнь к тонким личностям, которые, заявляясь к нему в кабинет, давали понять, что врачи, постоянно вынужденные напрягать интеллект, не относятся тем не менее к числу людей образованных.

— Нет, *ко мне*, в один из моих домов, мистер Уоррен-Смит, — сказал он, — где мы научим вас

отдыхать.

И, наконец, еще одна вещь.

Он совершенно убежден, что будь мистер Уоррен-Смит здоров, он ни в коем случае не стал бы пугать свою жену. Он ведь говорил о самоубийстве.

— У всех у нас бывают минуты отчаяния, — сказал сэр Уильям.

Стоит упасть, повторял про себя Септимус, и человеческая природа тебя одолеет. Доум и Брэдшоу одолеют. Рыщут по пустырям, с воем несутся в пустыню. В ход пускают дыбу и тиски. Беспощадна человеческая природа…

На него ведь временами находит такое, не правда ли? — интересовался сэр Уильям, держа перо наготове над красной карточкой.

Это никого не касается, сказал Септимус.

— Нельзя жить только для одного себя, — сказал сэр Уильям, возводя взор к фотографии леди Брэдшоу в придворном туалете.

— И перед вами прекрасные возможности, — сказал сэр Уильям. На столе лежало письмо мистера Брюера. — Исключительные, блестящие возможности.

Что, если исповедаться? Приобщиться? Отстанут они от него или нет — Доум и Брэдшоу?

— Я… я… — заикался он.

Но в чем же его преступление? Он ничего не мог вспомнить.

— Так-так? — подбадривал сэр Уильям (час, однако, был уже поздний).

Любовь, деревья, преступления нет — что хотел он открыть миру?

Забыл.

— Я… я… — заикался Септимус.

— Постарайтесь как можно меньше сосредоточиваться на себе, — сказал сэр Уильям проникновенно. Да, безусловно, его нельзя оставлять на свободе.

Быть может, им хочется еще о чем-то спросить? Сэр Уильям все устроит (шепнул он Реции) и известит ее сегодня же вечером от пяти до шести.

— Положитесь на меня, — сказал он и их отпустил.

В жизни, в жизни Реция так не страдала! Она просила помощи, и ее предали! Он их обманул! Сэр Уильям Брэдшоу — плохой человек.

Септимус сказал: содержать такой автомобиль — уже одно это обходится в кругленькую сумму.

Она прижалась к его локтю. Их предали.

А чего же она еще-то ждала?

Он отводил пациентам по три четверти часа;

а если в этой требовательной науке, имеющей дело с тем, о чем нам ничего, в сущности, неизвестно, — с нервной системой, человеческим мозгом, — врач теряет чувство пропорций, он перестает быть врачом. Здоровье — прежде всего; здоровье же есть пропорция; и если человек входит к вам в кабинет и заявляет, что он Христос (распространенная мания) и его посетило откровение (почти всех посещает), и грозится (они вечно грозятся) покончить с собой, вы призовете на помощь чувство пропорции; предпишете отдых в постели; отдых в одиночестве; отдых и тишину; без друзей, без книг, без откровений; шестимесячный отдых; и человек, весивший сорок пять килограммов, выходит из заведения с весом в восемьдесят.

Сэр Уильям обрел веру в пропорцию, божественную пропорцию, обходя больничные палаты, ловя семгу, рождая сына на Харли-стрит вкупе с леди Брэдшоу, которая сама ловила семгу и делала фотографии, едва отличимые от профессиональных. Боготворя пропорцию, сэр Уильям не только сам процветал, но способствовал процветанию Англии, заточал ее безумцев, запрещал им деторождение, карал отчаяние, лишал неполноценных возможности проповедовать свои

идеи, покуда сами не обретут чувство пропорции — его чувство пропорции, если речь о мужчинах, или чувство леди Брэдшоу, будь речь о женщинах (она вышивала, вязала, проводила четыре вечера в неделю дома с сыном), и его не только уважали коллеги, боялись подчиненные, но родные и близкие пациентов питали к нему живейшую благодарность за то, что он заставлял Спасителей и Спасительниц, предвещавших конец света и второе пришествие, пить молоко в постели; ибо так велел сэр Уильям; сэр Уильям, который благодаря тридцатилетнему опыту и безошибочному чутью тотчас распознавал: вот безумие, а вот разумное чувство. Чувство пропорции.

Но у Пропорции есть сестра, куда менее улыбчивая, более грозная богиня, которой и поныне приходится в горючих песках Индии, в грязных болотах Африки, в трущобах Лондона, словом, всюду, где климат либо же черт заставляет людей отпадать от истинной веры, от ее то есть веры, богиня, которой приходится сносить алтари, разбивать идолов и вместо них водружать собственный строгий образ; имя ей — Жажда-всех-обратить, и питается она волею слабых, и любит влиять, заставлять, обожает собственные черты, отчеканенные на лице населения. Она

ораторствует перед зеваками в Гайд-Парке; облекается в белые ризы и, покаянно переодевшись Братской Любовью, обходит палаты больниц и палаты лордов, предлагает помощь, жаждет власти; грубо сметает с пути инакомыслящих и недовольных, дарует благодать тем, кто, заглядываясь ввысь, ловит свет ее очей, — и лишь потом просветленным взором озирает мир. Эта дама тоже (Реция Уоррен-Смит догадалась) свила гнездышко в сердце сэра Уильяма Брэдшоу, хоть и норовила спрятаться, как в ее обычае прятаться, под благовидным прикрытием, под почтенным каким-нибудь именем: любви, долга, самоотверженности. Уж как сэр Уильям трудился — как радел он о том, чтобы фонды росли, реформы вводились, учреждения основывались! Но Жажду-всех-обратить, привередливую богиню, не проведешь на мякине, ей подавай человеческую волю. Например, леди Брэдшоу. Пятнадцать лет назад она не выдержала. Ничего, в сущности, особенного; ни сцены, ни вспышки; просто воля ее утонула в его воле, и она пошла ко дну. С томной улыбкой, с лаской во взоре; обед на Харли-стрит, еженедельный, из восьми-девяти блюд, на десять — пятнадцать персон благородной профессии, шел гладко и чинно. И лишь попозже, потом

уже, — запинка, неловкость, нервное подергивание, пауза и смущение заставили предположить то, во что верить, право же, не хотелось, — что бедняжка кривит душой. Некогда, в давние дни она спокойно рассказывала, как она ловит семгу. Ныне, желая служить столь маслянисто пылавшему в глазах мужа стремлению властвовать и царить, она взвешивала, выверяла, прикидывала, подсчитывала, подстерегала, следила, так что, хоть точно никто б не сказал, отчего вечер стал неприятным и отчего ломит в затылке (это можно бы приписать профессиональной беседе или усталости великого доктора, чья жизнь, говорила леди Брэдшоу, «принадлежит не ему, но всецело его пациентам»), вечер, однако же, стал неприятным. И когда пробило десять, гости вдохнули воздух Харли-стрит прямо-таки с упоением; пациентам же доктора Брэдшоу было то не дано.

В сером кабинете, увешанном живописью, среди изысканных мебелей, под потолком из матового стекла они постигали масштабы своих прегрешений; съежившись в кресле, они смотрели, как сэр Уильям исключительно ради их пользы проделывает интереснейшие упражнения руками: то выбрасывает их в стороны, то опять прижимает к бокам, доказывая (если

пациент упорствовал), что сэр Уильям — хозяин собственных действий, пациент же — отнюдь. И слабые не выдерживали; рыдали, сдавались; иные же, под влиянием бог знает каких буйных, безумных идей, в лицо называли сэра Уильяма шарлатаном; подвергали — еще более нечестиво — сомнению самое жизнь. Спрашивали: «Зачем жить?» Сэр Уильям отвечал, что жизнь прекрасна. Разумеется, леди Брэдшоу висит над камином в страусовых перьях и годовой доход у него равен двенадцати тысячам. Но ведь нас, они говорили, жизнь не балует так. В ответ он молчал. У них не было чувства пропорции. Но, может, и Бога-то нет? Он пожимал плечами. Значит, жить или не жить — это личное дело каждого? Вот тут-то они заблуждались. У сэра Уильяма был один друг в Суррее, где обучали, сэр Уильям откровенно признавался, нелегкому искусству — чувству пропорции. Существовали еще и семейные привязанности; честь; мужество и блестящие возможности. Решительным их поборником всегда выступал сэр Уильям. Если же это не помогало, он призывал на помощь полицию, а также интересы общества, которое — в Суррее — заботилось о том, чтобы пресекать антиобщественные порывы, идущие в основном

от недостатка породы. И тогда, осторожно, из укрытия выходила и садилась на трон богиня, вечно жаждущая покорять, и ломать, и в чужих святилищах водружать свой собственный образ. Голеньких, беззащитных, всеми оставленных сэр Уильям Брэдшоу припечатывал собственной волей. Бросался коршуном; пожирал; запирал. И за это-то сочетание решимости и человечности так высоко ценили сэра Уильяма родственники его жертв.

А Реция, идя по Харли-стрит, кричала, что он ей совсем не понравился.

На части и ломти, на доли, дольки, долечки делили июньский день, по крохам разбирали колокола на Харли-стрит, рекомендуя покорность, утверждая власть, хором славя чувство пропорции, покуда вал времени не осел до того, что магазинные часы на Оксфорд-стрит возвестили братски и дружески, словно бы господам Ригби и Лаундзу весьма даже лестно поставлять полезные сведения даром, — что сейчас половина второго.

Если посмотреть вверх, оказывается, что каждая буковка сдвоенного имени — Ригби и Лаундз — соответствует какому-то часу. И невольно испытываешь к ним благодарность за точное, по Гринвичу, время; и эта благодарность (так

рассуждал Хью Уитбред, задержавшийся возле витрины) естественно потом оборачивается покупкой носков и ботинок у Ригби и Лаундза. Так Хью рассуждал. Он всегда рассуждал, не углубляясь особенно; он скользил по поверхности; мертвые языки, живые, житье-бытье, жизнь в Константинополе, Риме, Париже, верховая езда, охота, теннис — было, было когда-то. Теперь же, недоброжелатели утверждали, он нес караул в Букингемском дворце в шелковых чулках и бриджах и караулил там никому не ведомо что. Однако он делал это весьма и весьма успешно. Пятьдесят пять лет он держался на плаву на сливках английского общества. Водил знакомство с премьерами. Привязанности его считались глубокими. И хотя надо признать, что действительно он не принял участия ни в одном из великих движений эпохи и не то чтобы занимал очень ответственный пост, одно-два скромных нововведения зато бесспорно делали ему честь: усовершенствование уличных навесов — это раз и, во-вторых, защита сов в Норфолке; молодые служанки имели все основания быть благодарными Хью. А уж подпись его под письмами в «Таймс» с просьбами выделить средства, с воззваниями к обществу, чтоб защищало, охраняло, не сорило,

не курило и боролось с безнравственностью в парках, право же, заслуживала уважения.

И он был, право же, великолепен, когда, застыв на минуту (пока замирал бой часов), критическим оком, оком судьи окинул носки и ботинки; он был безупречен и прочен, будто созерцал мир с некоей высоты, и был одет соответственно, но сознавал обязательства, какие рост, богатство, здоровье на него налагали, и скрупулезно придерживался, даже без нужды, тонкой старомодной учтивости, отчего так запоминалось и нравилось его поведение. Например, он ни разу не позволил себе явиться на ленч к леди Брутн, к которой ходил уже двадцать лет, не простирая букета гвоздик, и уйти, не справясь у мисс Браш, секретарши леди Брутн, о ее брате в Южной Африке, на что мисс Браш, хоть и лишенная решительно каких бы то ни было женских чар, ужасно почему-то обижалась и отвечала: «Спасибо, ему очень хорошо в Южной Африке», тогда как ему уже лет пять было очень плохо в Портсмуте.

Сама леди Брутн предпочитала Ричарда Дэллоуэя, явившегося одновременно с Хью. Они буквально столкнулись в дверях.

Конечно, леди Брутн предпочитала Ричарда Дэллоуэя. Этот был из куда более тонкого теста.

Но и бедного славного Хью она не дала бы в обиду. Она не могла забыть, он был удивительно мил и оказал ей как-то большую любезность, — она, правда, забыла какую. Но он был — да, удивительно мил. Впрочем, так ли уж велика разница между тем и другим человеком? Она вообще не могла понять, зачем это нужно — всех раскладывать по полочкам, как, например, Кларисса Дэллоуэй, раскладывать по полочкам и опять перемешивать; да, во всяком случае, не в шестьдесят же два года. Гвоздики Хью она приняла с обычной своей угловатой угрюмой улыбкой. Больше никого не будет, сказала она. Она обманом их заманила, они должны ее выручить.

— Но прежде надо поесть, — сказала она.

И началось бесшумное, изысканное, туда-сюда из двойных дверей скольжение фартучков и наколок, скольжение горничных, не служанок ради насущного хлеба, но посвященных в таинство, или великий обман, творимый хозяйками в Мейфэре с часу тридцати до двух, когда по мановению руки прекращаются дела и сделки и взамен воцаряется полная иллюзия, во-первых, относительно еды — что она не куплена, за нее не плачено; а затем — что скатерть сама собой уставилась серебром, хрусталем и сами собой очутились на

ней салфетки, блюда красных плодов, тонкие дольки палтуса под коричневым соусом, и в горшочках плавают разделанные цыплята; и не в камине, а в сказке пылает огонь; и вместе с кофе и вином (не купленным, не оплаченным) веселые видения встают пред задумчивым взором; томно тающим взором; которому жизнь уже кажется музыкой, тайной; взором, тянущимся радушно к прелести красных гвоздик, которые леди Брутн (чьи движения все угловаты) поместила рядом с тарелкой, так что Хью Уитбред, довольный всем миром, но и вполне сознавая свое положение в нем, сказал, отложив вилку:

— Они ведь прелестно пойдут к вашим кружевам?

Мисс Браш страшно покоробило от его фамильярности. Она считала его неотесанным. Это смешило леди Брутн.

Леди Брутн подняла со стола гвоздики и теперь держала их довольно неловко, приблизительно так же, как держал на портрете свиток генерал у нее за спиной; она застыла в задумчивости. Кто же она генералу: правнучка? или праправнучка? — спрашивал себя Ричард Дэллоуэй. Сэр Родерик, сэр Майлз, сэр Толбот — а, ну да. Удивительно, как в этом роду передается по женской

линии сходство. Ей бы самой драгунским генералом быть; и Ричард с радостью бы служил под ее началом; он чрезвычайно ее почитал; он питал романтические идеи относительно крепких, старых, знатных дам и, по добродушию своему, с удовольствием бы привел к ней на ленч кое-кого из молодых и горячих друзей; будто можно вывести нечто вроде ее породы из пылких говорунов за чайным столом! Он знал ее родные места. Знал ее семью. Там у нее есть виноградник, все еще плодоносящий, в котором сиживал не то Лавлейс, не то Херрик[18] — сама она не читала ни единой поэтической строчки, но таково предание. Лучше подождать с вопросом, который ее занимает (воззвать ли к общественному мнению; и если да, то в каких именно словах и прочее), лучше подождать, пока они выпьют кофе, думала леди Брутн. И она положила гвоздики на стол.

— Как Кларисса? — вдруг спросила она.

Кларисса всегда говорила, что леди Брутн ее недолюбливает. Действительно, о леди Брутн было известно, что она больше занята политикой, чем людьми; что она говорит, как мужчина; была замешана в какой-то известной интриге

18 Примечания: 18

Ричард Лавлейс (1618–1657) и *Роберт Херрик* (1591–1674) — английские поэты, воспевавшие радости сельской жизни.

восьмидесятых годов, ныне все чаще поминаемой мемуаристами. Доподлинно — в гостиной у нее была ниша, и в нише столик, и над столиком фотография генерала сэра Толбота Мура, ныне покойного, который здесь же составил (однажды вечером в восьмидесятые годы), в присутствии леди Брутн и с ее ведома, то ли по ее совету, телеграмму с приказом британским войскам наступать — в одном историческом случае (она сохранила то перо и рассказывала эту историю). Потому, когда леди Брутн обрушивала подобный вопрос («Как Кларисса?»), мужьям трудно было убедить своих жен, да и самим при всей преданности не усомниться чуть-чуть в искренности ее интереса к этим женщинам, которые так часто мешают мужьям, не дают принять важный пост за границей и которых приходится в разгар парламентской сессии таскать на воды, чтоб оправились от инфлюэнцы. Тем не менее такой вопрос («Как Кларисса?») в ее устах неизменно означал для женщин признание со стороны доброжелателя, почти немого (всего-то и было таких высказываний пять-шесть за всю ее жизнь), что кроме завтраков в мужской компании существует еще и женское дружество, связывающее леди Брутн и миссис Дэллоуэй (которые встречались

редко и при встречах казались одна другой безразличными и даже враждебными) особыми узами.

— Я сегодня встретил Клариссу в парке, — сказал Хью Уитбред, выуживая кусок цыпленка и спеша отдать скромную дань признания своему удивительному таланту, — стоило ему приехать в Лондон, он сразу всех встречал. Но обжора, обжора, она просто таких не видывала, думала Милли Браш, которая судила о мужчинах с неколебимой суровостью и была способна на преданность до гроба, — в частности, представительницам своего собственного пола, ибо была она сутуловата, бородавчата, угловата и решительно лишена женских чар.

— А знаете, кто сейчас в Лондоне? — вдруг вспомнила леди Брутн. — Наш старый друг Питер Уолш.

Все заулыбались. Питер Уолш! И мистер Дэллоуэй искренне обрадовался, думала Милли Браш; а мистер Уитбред только о цыпленке и думал.

Питер Уолш! Все трое — леди Брутн, Хью Уитбред и Ричард Дэллоуэй — вспомнили одно и то же: как отчаянно был Питер влюблен; получил от ворот поворот; уехал в Индию; ничего не достиг;

совсем запутался; и Ричарду Дэллоуэю очень нравился старый милый приятель. Милли Браш это видела; видела глубину в его темных глазах и как он колеблется, что-то решает; и ей было интересно, ей все было интересно про мистера Дэллоуэя — интересно, что он думает про Питера Уолша?

Что Питер Уолш был влюблен в Клариссу; что сразу после ленча он пойдет к Клариссе и скажет ей, что он любит ее. Да, именно в этих словах.

Милли Браш когда-то чуть не влюбилась в эту задумчивость мистера Дэллоуэя; он такой положительный и настоящий джентльмен. Теперь же ей было за сорок, и леди Брутн стоило только кивнуть, даже чуть-чуть повернуть голову, и Милли Браш принимала сигнал, как бы ни была она погружена в соображения высокого духа, кристальной души, недоступной низким проискам жизни, ибо та не подсунула Милли Браш ради подкупа ни самомалейшей безделицы — ни локончика, ни улыбки, ни ротика, носика, щечек, решительно ничего; леди Брутн стоило только кивнуть — и Перкинс уже получил указание поторопиться с кофе.

— Да, Питер Уолш вернулся, — сказала леди Брутн. Это смутно льстило им всем. Побитого, незадачливого, его кинуло к их безопасному

берегу. Но помочь ему, рассудили они, положительно невозможно; у него в характере какой-то изъян. Хью Уитбред сказал, что, разумеется, можно упомянуть о нем такому-то и такому-то. Он траурно, важно нахмурился, прикидывая, какие письма он сочинит для глав учреждений, прося за «моего старого друга Питера Уолша», и прочее. Только ни к чему это не приведет — ни к чему существенному не приведет, из-за его характера.

— Вероятно, сложности с женщиной, — сказала леди Брутн. Они все подозревали, что подоплека — *в этом*.

— Однако, — сказала леди Брутн, чтоб переменить тему, — мы все узнаем от самого Питера.

(Кофе что-то долго не несли.)

— А его адрес? — бормотнул Хью Уитбред; и тотчас прошлась рябь по серой глади службы, омывавшей леди Брутн день-деньской, ограждая ее, охраняя, окружая тонкой паутиной, которая смягчала вторжения, предотвращала удары и раскидывалась над домом на Брук-стрит тонким наметом, где все застревало и тотчас извлекалось седовласым Перкинсом, который служил леди Брутн уже тридцать лет и теперь записал адрес, передал мистеру Уитбреду и тот вытащил записную книжку, вскинул брови, поместил бумажку

среди чрезвычайной важности документов и сказал, что он попросит Ивлин пригласить его к завтраку.

(Кофе не вносили, пока мистер Уитбред не управится с этим делом.)

Хью ужасно медлителен, думала леди Брутн. И Хью потолстел, она заметила. Ричард всегда в прекрасной форме. Леди Брутн начала уже нервничать; решительно, неоспоримо и властно ее существо стремилось преодолеть все эти мелкие частности (Питера Уолша, его дела) и перейти наконец к тому, что поглощало ее помыслы, и не только их поглощало, но составляло тот стержень души, без которого Милисент Брутн не была бы Милисент Брутн, перейти к проекту эмиграции молодых людей обоего пола из почтенных семейств, с тем чтобы создать им условия для процветания в Канаде. Она увлекалась. Быть может, она утратила чувство пропорции. Другим эмиграция не казалась панацеей от всех болезней, идеальным замыслом. Для них (для Хью или Ричарда, даже для преданной мисс Браш) она не была высвобождением тех эгоистических сил, которые мощная, воинствующая женщина хорошего происхождения от хорошей жизни, непосредственных порывов, откровенных чувств

и неспособности к самоанализу (я прямая, открытая, почему человеку нельзя быть прямым и открытым? — недоумевала она), которые такая женщина ощущает в себе, когда молодость миновала, и стремится направить на какой-то объект, будь то эмиграция, эмансипация, совершенно неважно что, но, ежедневно питаясь соками ее души, объект этот неизбежно становится сверкающим, блистающим — не то зеркало, не то драгоценный камень; временами его любовно скрывают от насмешливых взоров, временами же гордо выставляют напоказ. Короче говоря, эмиграция стала теперь в значительной степени самой леди Брутн.

Но приходилось еще и писать. А одно письмо в «Таймс», говорила она мисс Браш, стоило ей больших усилий, чем отправить экспедицию в Южную Африку (какую она во время войны и отправила). Потратив утро на битву с письмом, начиная, марая, бросая, начиная опять, она как никогда ощущала бесплодность своих женских потуг и склонялась признательной мыслью к Хью Уитбреду, который обладал — тут уж никто бы не мог усомниться — удивительным даром сочинять письма в «Таймс».

Совершенно не похожее на нее существо, Хью

так владел языком; умел все изложить в точности, как нужно издателям; и был, конечно, не просто примитивный жадюга, все гораздо сложней. Леди Брутн не решалась строго судить о мужчинах из почтения к тому таинственному сговору, по которому именно они, но не женщины ведают миропорядком; знают, как что изложить; все понимают; и когда Ричард советовал ей, а Хью за нее писал, она была, в общем, уверена в своей правоте. И она дала Хью доесть суфле, спросила про бедняжку Ивлин, дождалась, пока они стали курить, и уж потом сказала:

— Милли, вы нам не принесете мои бумаги?

И мисс Браш вышла, вернулась; положила бумаги на стол; и Хью вытащил вечное перо, серебряное вечное перо, которое, он сказал, откручивая колпачок, прослужило ему уже двадцать лет. И осталось в полной сохранности; он его показывал в фирме; там сказали, что оно, собственно, и вообще не должно испортиться; и почему-то такое это делало честь Хью и делало честь тем чувствам, которые (Ричард это ощущал) выражало его вечное перо, пока Хью аккуратно выводил на полях заглавные буквы, обводил их кружочками и тем самым сводил чудодейственно сумбур леди Брутн к строю, ладу и грамматике,

которые, поняла леди Брутн, следя за магическим превращением, непременно понравятся редактору в «Таймс». Хью был медлителен. Хью был основателен. Ричард считал, что кое-чем можно пожертвовать. Хью предложил некоторые модификации, из уважения к чувствам людей, с которыми, он прибавил довольно язвительно, когда Ричард засмеялся, «нельзя не считаться», и он читал вслух, как, «следовательно, мы придерживаемся того мнения, что настало время, когда… избыточная часть нашего непрестанно возрастающего населения… наш долг перед мертвыми…», что Ричард находил сплошной трескотней и белибердой, хотя и безвредной, а Хью продолжал намечать в алфавитном порядке чувства наивысшего благородства, отрясал сигарный пепел с жилета, время от времени подводил достигнутому итог, пока наконец не огласил вариант письма, который, леди Брутн понимала отчетливо, был просто шедевром. Неужто она сама до такого додумалась?

Хью не мог утверждать с уверенностью, что редактор это поместит; но он надеялся с кем-то такое переговорить за обедом.

После чего леди Брутн, редко делавшая изящные жесты, сунула все гвоздики Хью себе за

пазуху и, распростерши руки, назвала его «мой премьер-министр!». Она просто не знала, что бы она делала без них обоих. Оба встали. И Ричард Дэллоуэй прошел, как всегда, взглянуть на портрет генерала, поскольку он собирался, когда выдастся досуг, написать историю семьи леди Брутн.

А Милисент Брутн очень гордилась своей семьей. «Но они подождут, они подождут», — сказала она, глядя на портрет; разумея, что ее семья — воины, государственные мужи, адмиралы — были все люди действия, они исполняли свой долг; и первейший долг Ричарда — долг перед отечеством; но лицо прекрасное, сказала она; а бумаги для Ричарда собраны и полежат в Олдмикстоне, пока пора не пришла; пока не пришли лейбористы к власти, она разумела. «Ах, эти вести из Индии!» — вскричала она.

И вот, когда они уже стояли в холле и вынимали желтые перчатки из вазы на малахитовом столике и Хью с совершенно излишней галантностью норовил всучить мисс Браш завалящий театральный билет или подобную прелесть, чем возмущал ее до глубины души и вгонял в густую краску, Ричард повернулся к леди Брутн, держа шляпу в руке, и сказал:

— Мы увидим вас вечером на нашем приеме? — после чего к леди Брутн воротилось величие, развеянное составлением письма. Возможно, она придет; возможно, и нет. Кларисса изумительно энергична. На леди Брутн приемы наводят страх. Впрочем, она стареет — так поведала им она, стоя на пороге — статная, очень прямая; а чау-чау потягивался у нее за спиной, а мисс Браш исчезала на заднем плане, прижимая к груди бумаги.

И леди Брутн весомо, державно поднялась к себе в спальню. Выкинув вбок одну руку, лежала она на софе. Она вздыхала, посапывала, она не спала, нет, она просто была тяжелая, сонная, как луг под солнцем в мутный июньский день, когда пчелы кружат над лугом и желтые бабочки. Вечно она возвращалась к тем местам в Девоншире, где вместе с Томом и Мортимером — братьями — она перепрыгивала через ручьи на Патти, своей лошадке. Там были собаки и крысы; и мать с отцом под вязами; и на лужайке сервировали им чай; там куртины; штокрозы и далии; и пампасская трава; а вот они, трое негодников, — одни проказы на уме! — крадутся кустарником, чумазые после какой-то проделки. Как старая няня причитала над ее платьицами!

Господи, да ведь она же на Брук-стрит, сегодня

среда. Эти милые, добрые люди — Ричард Дэллоуэй и Хью Уитбред — в такую жару шли по улицам, грохот которых долетал до софы леди Брутн. У нее были власть, положение, доход. Она всегда была передовым человеком. Добрые друзья ее окружали; она знала немало светлых умов своего времени. Рокот Лондона натекал в окна, и откинутая на софе рука сжимала воображаемый жезл, каким помахивали, наверное, предки, и, помахивая жезлом, тяжелая, сонная, она вела батальоны вперед, и шли батальоны к Канаде, а милые люди шли по Лондону, по своей территории, по этому коврику, по Мейфэру.

И все дальше они уходили, от нее все дальше, и тоненькая ниточка, которая их к ней еще прикрепляла (раз они вместе откушали), все вытягивалась, вытягивалась, все истончалась, пока они шли по Лондону; будто друзья, откушав с тобой, прикрепляются к тебе тоненькой ниточкой, которая (леди Брутн дремала) истаивает под колокольным звоном, вызванивающим время, не то созывающим в церковь; так одинокую паутинку туманят капли дождя, и потом, отягчась, она провисает. И леди Брутн уснула.

А Ричард Дэллоуэй и Хью Уитбред задержались на углу Кондит-стрит в тот самый миг, когда Ми-

лисент Брутн, лежа на софе, выпустила ниточку; всхрапнула. На углу бились встречные ветры. Ричард и Хью заглянули в витрину; им не хотелось ничего покупать, ни разговаривать, хотелось, наоборот, распрощаться, но бились встречные ветры, первая половина дня с разлету врезалась во вторую, и толчок еще отдавался в теле, вот они и остановились на углу Кондит-стрит. Совсем близко, как пущенный в голубизну белый змей, устремленно взмыла газета, расправилась и застыла, паря; у дамы взметнулась вуалька. Желтые навесы дрожали. Утреннее движение стихало, только редкие подводы облегченно гремели на пустеющих улицах. А в Норфолке, смутно вспоминавшемся сейчас Ричарду, жаркий нежный ветер обдувал лепестки; лохматил воду; ерошил цветущие травы. Косцы, заморясь от работы и устроясь в тени соснуть, раздвигали завесу зеленых стеблей, чтоб из-под дрожащих шариков купыря заглянуть в небо; в синее, в недвижное, в слепящее летнее небо.

Поймав себя на том, что он уставился на серебряный, семнадцатого века, кубок о двух ручках, покуда Хью благосклонно, с видом знатока созерцает испанское ожерелье, чтоб к нему приценяться на случай, если оно подойдет Ивлин,

Ричард все же не мог стряхнуть оцепенение; не хотелось ни думать, ни двигаться. Жизнь выбросила на берег эти обломки; витрины, заваленные побрякушками; и летаргический сон древности, старины окутывал Ричарда. Возможно, Ивлин Уитбред и пожелает купить испанское ожерелье — очень возможно. Ричард зевнул. Хью решил войти в магазин.

— Изволь, — сказал Ричард и побрел следом за ним.

Видит бог, вот уж он не собирался покупать ожерелья в компании с Хью. Но первая половина дня с разлету врезалась во вторую. И толчок еще отдавался в теле. Как валкий челн в глубоких, глубоких водах, прадедушку леди Брутн, воспоминания о нем и его походы в Америке опрокинуло и накрыло волной. А с ним и Милисент Брутн. Она утонула. Ричарду было в высшей степени наплевать, что станется с эмиграцией и с письмом этим — поместит его редактор или нет. Ожерелье повисло на великолепных пальцах Хью. Пусть бы отдал его какой-нибудь девушке, если так надо ему покупать драгоценности; первой встречной девушке. Вдруг Ричарда поразила бессмысленность жизни. Покупать ожерелья для Ивлин. Будь у Ричарда сын, он бы твердил ему:

«Трудись, трудись». Но у него была Элизабет; он обожал свою Элизабет.

— Я желал бы видеть мистера Дюбонне, — уверенно отчеканил Хью. Этот Дюбонне, оказывается, знал размер шеи миссис Уитбред и, еще более странно, знал, как относится она к испанским драгоценностям и (Хью лично запамятовал) что имеется у нее в арсенале по этой части. Все вместе взятое весьма удивляло Ричарда Дэллоуэя. Он никогда ничего не дарил Клариссе, только браслет подарил несколько лет назад, но браслет не имел успеха. Она ни разу его не надела. Ричард вспомнил с тоской, что она ни разу его не надела. И как одинокая паутинка, поболтавшись, прикрепляется к листику, так и мысль Ричарда, высвободясь из летаргии, потянулась к жене, Клариссе; по ней когда-то с ума сходил Питер Уолш; и она вдруг привиделась Ричарду во время ленча; привиделись он сам и Кларисса; их совместная жизнь. И он придвинул к себе поднос со старинными драгоценностями и, поддевая то брошку, то кольцо, спрашивал: «Сколько это стоит?» — но он не доверял своему вкусу. Ему хотелось, входя в гостиную, держать что-то в руках, подарок Клариссе. Только вот что бы? А Хью уже снова распустил хвост. Он был несказанно вели-

чествен. Естественно, тридцать пять лет здесь снабжаясь, он не желал довольствоваться услугами неопытного молодого человека, в сущности мальчика. Ибо этот Дюбонне, выяснялось, отлучился, и Хью не намеревался ничего покупать, покуда мистер Дюбонне не соблаговолит быть на месте; юнец же в ответ покраснел и поклонился очень корректно. Все вообще было очень корректно. Но Ричард бы ни за что в жизни не стал ничего этого говорить! Он не постигал, почему люди терпят подобную наглость. Хью становился просто несносным олухом. Ричард Дэллоуэй не мог теперь выдержать его общество более часа. И, взмахнув в знак прощания шляпой, Ричард завернул за угол Кондит-стрит, чтоб поскорей, да, поскорей пойти следом за паутинкой, которая его привязывала к Клариссе; пойти прямо к ней, в Вестминстер.

Но ему хотелось что-то ей принести. Цветы? Да, цветы, раз он не доверяет своему вкусу относительно драгоценностей; побольше цветов — роз, орхидей, чтоб ознаменовать, как ни толкуй, событие; это чувство, которое осенило его, когда за столом говорили про Питера Уолша; они ведь никогда про это не говорят; они уж сто лет про это не говорят; и, между прочим, думал

он, прижимая к груди белые и красные розы (большую охапку в шелестящей обертке), очень, очень напрасно. Наступает время, когда уже и не скажешь; такое как-то стесняешься выговорить, подумал он, сунул в карман сдачу и отправился, прижимая к груди охапку цветов, в Вестминстер, чтобы с порога сказать (и пусть она что хочет, то про него и думает), с порога сказать, протягивая цветы: «Я тебя люблю». Почему не сказать? Ведь это же просто чудо, как вспомнишь о войне, о тысячах бедных парней, совсем молодых, которые свалены в общих могилах и почти позабыты; просто чудо. А он вот идет по Лондону, идет сказать Клариссе, что он любит ее, именно в этих словах. Такое, в общем, не говоришь, думал он. Отчасти ленишься; отчасти стесняешься. А Кларисса… О ней трудно думать; разве вдруг, приступом, как за ленчем, когда он отчетливо увидел ее всю; всю их жизнь. Он стоял у перехода и повторял про себя — простой по натуре и неиспорченный, недаром он много бродил и охотился; настойчивый и упорный, защитник прав угнетенных, всегда искренний в палате общин; неизменный в своей простоте, но в последнее время чересчур молчаливый и скованный, — он повторял про себя, что это же чудо, что он женат на Клариссе;

чудо, чудо, его жизнь — настоящее чудо, думал он; и медлил у перехода. Но кровь в нем вскипела при виде карапузов лет пяти, которые — одни, без присмотра — пересекали Пиккадилли. Полиция в таких случаях обязана сразу перекрывать движение. Относительно лондонской полиции он не слишком обольщался. Он, собственно, собирал даже данные о преступном ее нерадении; а торговцы? Почему они ставят тележки на улице — это запрещено. А проститутки? Господи, конечно, не они виноваты и не бедные юноши, но наше отвратительное общественное устройство и прочее, прочее. Обо всем этом он размышлял, и эта работа мысли была в нем видна, когда, седой, элегантный, упорный, чистый, он пересекал парк с тем, чтоб сказать жене, что он любит ее.

Он войдет в гостиную и прямо так ей и скажет. Ведь жалко безумно, что мы не высказываем своих чувств, думал он, пересекая Грин-Парк и с удовольствием наблюдая, как целые семьи, бедные семьи разместились в тени под деревьями; детишки, совсем клопы, болтали ножонками; сосали молоко; бумажные пакеты валялись на земле, однако же (в случае возможных протестов) их тотчас мог устранить один из этих плотных господ в ливреях. Да, Ричард был того мнения,

что все парки, все скверы должны быть открыты для детей в продолжение летних месяцев (трава, красноватая, вялая, подсвечивала снизу лица бедных вестминстерских матерей и копошащихся деток, будто двигали снизу желтую лампу). Но что делать, однако, с заблудшими особами женского пола, как вот та, например, что лежала опершись на локоть (будто сорвавшись с удил, бросилась на землю, чтоб наблюдать и взвешивать, что почем, нагло, весело распустив губы), он положительно не постигал. С букетом наперевес Ричард Дэллоуэй к ней приблизился; сосредоточенно прошел мимо; но между ними успела проскочить искорка — она усмехнулась при виде его, он же доброжелательно улыбнулся, размышляя над судьбами заблудших особ женского пола; говорить им было, разумеется, не о чем. Но сейчас он скажет Клариссе, что он любит ее, именно в этих словах. Когда-то, давным-давно, он ревновал к Питеру Уолшу; ревновал к нему Клариссу. Но она часто повторяла, что правильно сделала, отказав Питеру Уолшу; и это правда, он же знает Клариссу; ей нужна опора. Она вовсе не слабая; но ей нужна опора.

Ну а насчет Букингемского дворца (будто старая примадонна, вся в белом, смотрит на зрителей),

ему не откажешь в известном достоинстве, думал Ричард, и нельзя же презирать то, что в конце концов для миллионов людей (горстка любопытных собралась у ворот, ожидая выезда короля) является известным символом, хотя и нелепым; ребенок, ей-богу, сложил бы удачней из кубиков, подумал он и окинул взглядом королеву Викторию (он ее помнил, она была в роговых очках, проезжала по Кенсингтону) — белокаменную пышность, изобильное материнство; но ему нравилось, чтоб над ним царило потомство Хорсы[19], он ценил непрерывность; ощущение преемственности. Да. Великая, великая Эпоха. А его собственная жизнь — разве не чудо? Да, жаловаться грех. Вот он, во цвете лет, он идет по Вестминстеру, идет к себе домой — сказать Клариссе, что он ее любит. Это счастье и есть, думал он.

Так и есть, сказал он, входя на Динс-Ярд. Биг-Бен выбил: сперва мелодично — вступление; и затем непреложно — час. Эти ленчи в гостях разбивают весь день, думал он, подходя к своей двери.

Звук Биг-Бена затопил гостиную и застиг Клариссу за письменным столом, очень расстроен-

---

19 Примечания: 19

Хорса и Хенгист — вожди древних саксов, возможно, легендарные фигуры.

ную; очень расстроенную и злую. Да, совершенно справедливо, она не пригласила Элли Хендерсон к себе на прием; но она же ее сознательно не пригласила. И вот миссис Мэшем пишет: «Она обещала Элли Хэндерсон спросить у Клариссы… Элли так хотелось пойти…»

Но почему, почему она обязана всех скучнейших дам Лондона приглашать на свои приемы? И при чем тут миссис Мэшем? И вдобавок Элизабет заперлась с Дорис Килман. Вообразить нельзя ничего более тошнотворного. Молиться среди бела дня с этой особой. А звук колокола затопил гостиную печальной волной; и волна отступала и опять собиралась нахлынуть, когда Кларисса различила рассеянно какой-то шелест под дверью. Кто там еще, в такой час? Три. Господи! Уже три! С победительной прямотой и достоинством часы выбили три; и больше она уже ничего не слышала; но повернулась дверная ручка, и вошел Ричард! Вот неожиданность! Вошел Ричард, протягивая ей цветы. Когда-то в Константинополе она обманула его ожидания; и леди Брутн, славившаяся своими увлекательными ленчами, ее не пригласила. Ричард вошел, протягивая ей цветы — розы, красные и белые розы. (Но он так и не выговорил, что он ее любит, как собирался,

именно в этих словах.)

— Какая прелесть, — сказала она, принимая у него из рук цветы. Она поняла; она без всяких слов поняла; это же Кларисса. Она расставляла их в вазах на камине.

— Какая прелесть, — говорила она. Интересно было? Спрашивала про нее леди Брутн? Питер Уолш приехал. Миссис Мэшем прислала письмо. Неужто необходимо приглашать Элли Хэндерсон? Килманша торчит наверху.

— Посидим пять минут, — сказал Ричард. В гостиной стало как-то пусто. Все стулья по стенам. Зачем это? Ах да, прием; нет, он не забыл про прием. Питер Уолш вернулся. Ну да, он у нее был. Собирается разводиться; влюбился там в кого-то. И в точности, в точности тот же. Она сидела, чинила платье…

— Вспоминала Бортон, — сказала она.

— Хью тоже был, — сказал Ричард. Ах, и она его встретила? Совершенно стал несносный. Покупает своей Ивлин ожерелья; еще потолстел; несносный олух.

— И вдруг на меня нашло: «А ведь чуть не вышла за тебя», — сказала она, думая про то, как Питер сидел тут, в галстуке бабочкой; играл ножом — открывал, закрывал. — Он, ну, ты знаешь,

как всегда.

Про него речь шла за едой, сказал Ричард. (Но он не смог ей сказать, что он ее любит. Он держал ее за руку. Это счастье и есть, думал он.) Они писали письмо в «Таймс» для Милисент Брутн. Хью на одно это, кажется, только и годен.

— Ну, а что же милейшая мисс Килман? — спросил он. Клариссе безумно понравились розы; сперва они так тесно слепились, а теперь сами раскинулись в стороны.

— Килман заявляется сразу же после ленча, — сказала она. — Элизабет вся краснеет. Они запираются наверху. Наверное, молятся.

Господи! Вот уж это было не по нутру Ричарду. Но это возрастное, такие вещи проходят сами, если не обращать внимания.

— В макинтоше и с зонтиком, — сказала Кларисса.

Он ей не сказал: «Я тебя люблю»; но он держал ее за руку. Это счастье и есть, думал он.

— Но почему я должна всех скучнейших дам Лондона приглашать к себе на приемы? — сказала Кларисса. — И когда у миссис Мэшем прием, она же сама решает, кого пригласить?

— Бедненькая Элли Хендерсон, — сказал Ричард. Ужасно странно, как Кларисса тревожится

из-за своих приемов, думал он.

Но Ричард даже не заметил, как они убрали гостиную! Да, так что же он хотел ей сказать?

Раз она огорчается из-за этих приемов, он ей больше не разрешит их устраивать. Ну так как же? Жалеет она, что не вышла за Питера? Ему, однако, пора.

Ему надо идти, сказал он, и он встал. Но еще постоял перед нею, будто что-то решался сказать; и она гадала — что? И зачем? Вот же — розы.

— Комитет какой-нибудь? — спросила она, когда он отворял дверь.

— Армяне, — сказал он; или, может, он сказал «славяне».

И есть же достоинство в людях; отдельность; даже между женою и мужем — провал; и с этим надо считаться, думала Кларисса, глядя, как он отворяет дверь; с этим и сама не расстанешься, и у мужа не будешь силком отымать, не то как раз и лишишься свободы, уважения к себе — словом, бесценных вещей.

Он воротился, принес одеяло и подушку.

— После ленча полный покой в течение часа, — сказал он. И он ушел.

Как на него похоже! Он будет повторять: «После ленча полный покой в течение часа» до

скончания века, потому что один врач однажды это ей предписал. На него похоже — понимать предписания врачей совершенно буквально; это часть его дивной, его божественной простоты, и больше ни у кого нет до такой степени простоты; потому-то он сразу шел и что-то делал, пока они с Питером тратили время в пустых пререканиях. Сейчас он уже на полпути к палате общин, спешит к своим армянам, к своим славянам, устроив ее на кушетке, лицом к розам. А ведь кто-то скажет: «Кларисса Дэллоуэй — неженка». Да, ей куда больше нравятся ее розы, чем армяне. Гонимые, преследуемые, истязаемые, окоченелые, жертвы жестокости и несправедливости (Ричард сто раз говорил), нет, ей совершенно безразличны славяне — или армяне? Зато розы ей радуют сердце (ведь и для армян эдак лучше, не правда ли?) — единственные цветы, которые не противно видеть срезанными с куста. А Ричард уже в палате общин; он в своем комитете, и все ее затруднения он тоже уладил. Хотя нет; увы, это неверно. Он не поддержал ее насчет Элли Хендерсон. Она, конечно, все сделает, как он хочет. Раз он принес подушку, надо полежать… Но только — только непонятно, отчего ей вдруг стало так грустно? Как кто-то, кто потерял в траве

жемчужину или бриллиант и, раздвигая высокие стебли, все ищет, ищет напрасно и наконец обнаруживает пропажу у самых корней, так и она внимательно искала, перебирала причины; нет, это не из-за того, что Салли Сетон говорила: «Ричарду не бывать в кабинете министров, не того полета ум» (вдруг вспомнилось); подумаешь, ну говорила, и пусть; и Элизабет с Дорис Килман здесь ни при чем; это факты. А тут чувство какое-то, неприятное чувство примешано, которое было, наверное, сегодня, но раньше; что-то из слов Питера наложилось на ту печаль, которая нашла на нее, когда она в спальне снимала шляпку, и от того, что сказал Ричард, это усугубилось. Но что он такого сказал? Принес розы. А! Насчет приемов! Вот оно! Приемы! Оба осуждали ее — и ужасно несправедливо, совершенно незаслуженно смеялись над ней из-за ее приемов. Вот оно! Вот!

Так что же можно сказать в свое оправдание? Теперь, когда она добралась до причины тоски, ее как рукой сняло. Они думают, Питер по крайней мере думает, что она любит привлекать к себе внимание; любит коллекционировать знаменитостей; разные великие имена; словом, обычная снобка. Питер, наверное, так и думает. Ричард, в

общем, считает только, что глупо волноваться, раз это вредно больному сердцу. Он считает это ребячеством. И оба совершенно неправы. Любит она — просто жизнь.

— Потому я все это и делаю, — сказала она вслух — жизни.

Пока она лежала на кушетке, от всего отрешившись и отойдя, — жизнь, и прежде физически ощутимая, уже сама входила в окна в одежде уличных шумов, прогретых солнцем, горячих, шелестящих, прерывистых, так что у штор перехватывало дух. Но если б Питер, положим, сказал: «Да, да, а твои приемы, какой смысл в твоих приемах?» — она могла бы ответить (и ни от кого нельзя требовать, чтоб он понял такое): «Это жертвоприношение». Звучит, конечно, туманно. Только кому-кому, а уж не Питеру утверждать, что жизнь простая, понятная вещь. Сам-то? Вечно влюблен, вечно влюблен в кого не следует. А какой смысл в твоей любви? — тоже ведь можно спросить. Ответ его, правда, известен: это самая важная вещь на свете, но ни одна женщина ничего в ней не понимает. Прекрасно. Ну а мужчина, хоть один, может понять вот это? Насчет жизни? Посмотрела бы она, как Питер или Ричард станут ни с того ни с сего устраивать прием.

Но если вдуматься глубже, если отвлечься от того, кто там что говорит (до чего же отрывочно, поверхностно они судят), сама-то она что вкладывает в свое понятие «жизнь»? О, все ужасно сложно. Такой-то и такой-то живут в Южном Кенсингтоне; кто-то в Бейзуотере; а еще кто-то, скажем, в Мейфэре. И она постоянно в себе чувствует, что они существуют; и чувствует — какая досада; чувствует — какая жалость; и если бы всех их свести; вот она и хлопочет. И это жертвоприношение; творить, сочетать. Жертвоприношение — но кому?

Просто, наверное, надо приносить жертвы. Во всяком случае, такой уж у нее дар. Больше ей ничего не дано хоть сколько-то стоящего; она не умеет мыслить, писать, даже на рояле играть не умеет. Не в силах отличить армян от турок; любит успех; ненавидит трудности; любит нравиться; городит горы вздора; и по сей день — спросите ее, что такое экватор — и она ведь не скажет.

И все равно — подумать только — день сменяется днем; среда, четверг, пятница, суббота; и можно проснуться утром; увидеть небо; пройтись по парку; встретить Хью Уитбреда; потом вдруг является Питер; и эти розы; разве еще не довольно? И как немыслима, невообразима смерть! И

все кончится; и никто, никто в целом свете не будет знать, как она все это любила; и каждый миг…

Дверь отворилась. Элизабет знала, что мать отдыхает. Она вошла очень тихо. Она стояла не шевелясь. Может, правда, какой-то монгол потерпел крушение у берегов Норфолка (как уверяла миссис Хилбери) и смешался с женами из рода Дэллоуэев лет сто тому назад? Ведь вообще Дэллоуэи все светлые, голубоглазые; Элизабет же темная, наоборот; у нее китайские глаза на бледном лице; таинственность Востока; она тиха, рассудительна, молчалива. В детстве у нее было прекрасное чувство юмора; а теперь, в семнадцать лет, почему-то — Кларисса не могла взять в толк почему — она вдруг стала ужасно серьезна; как гиацинт, облитый зеленым глянцем и по почкам чуть-чуть тронутый краской; без солнца выросший гиацинт.

Она стояла не шевелясь и смотрела на мать; но дверь была полуотворена, и за дверью, Кларисса знала, была мисс Килман; мисс Килман, в своем макинтоше, подслушивала под дверью.

Да, мисс Килман стояла на площадке и действительно в макинтоше; но у нее были резоны. Во-первых, макинтош был дешевый; во-вторых,

ей шел пятый десяток, и одевалась она не красоты ради. И она была бедна, можно сказать — нищая. Иначе она б не стала наниматься к таким людям, как Дэллоуэй, — к богачам, которым хочется быть добрыми. Мистер Дэллоуэй, тот, надо отдать ему должное, к ней действительно добр. А вот миссис Дэллоуэй — нет. Просто снисходительна. Она из самой противной среды — богачей с проблесками культуры. Всюду у них понатыканы ценные вещи — картины, ковры. И видимо-невидимо слуг. Мисс Килман никак не считала, что ее тут облагодетельствовали.

Вообще ее попросту обобрали. Да, без всякого преувеличения, ведь имеет же каждая девушка право на счастье? А она никогда не была счастлива, никогда, такая неимущая, нескладная. И как раз, когда все могло б так хорошо обернуться — в школе у мисс Долби, — началась война; и она никогда не умела врать. И мисс Долби сочла, что ей место скорей среди тех, кто разделяет ее взгляды на немцев. Ей пришлось уйти. Да, верно, семья их немецкого происхождения; в восемнадцатом веке еще и фамилия писалась на немецкий манер, через долгое «и»; но ее брат ведь погиб на фронте. Ее выгнали, потому что она не могла делать вид, будто немцы все до единого сволочи — когда у

нее друзья немцы, и если уж были у нее в жизни счастливые дни, так только в Германии! А уж в истории, в конце концов, она кое-что смыслила. И пришлось хвататься за все. Мистер Дэллоуэй наткнулся на нее, когда она работала в «Обществе друзей»[20]. Он дал ей возможность (и очень с его стороны великодушно) преподавать его дочке историю. Потом подвернулось еще несколько лекций на вечернем факультете и прочее. А потом к ней явился Господь (тут она обычно склоняла голову). Два года и три месяца как она прозрела. И теперь она уже не завидовала женщинам вроде Клариссы Дэллоуэй; она их жалела.

Она жалела и презирала их всей душой, стоя на пушистом ковре перед старинной гравюрой — девочка с муфтой. При такой роскоши — где же надежда на спасение? Чем валяться на кушетке (Элизабет сказала: «Мама отдыхает»), постоять бы у станка; за стойкой; миссис Дэллоуэй и прочим дамам из общества!

Вся горя гневом, мисс Килман два года и три месяца назад зашла в церковь. Она слушала, как проповедует его преподобие Эдвард Уиттекер, как поют мальчики; видела, как плывут по нефу

---

20 Примечания: 20
Официальное название секты квакеров.

торжественные свечи; и то ли от музыки, то ли от голосов (одинокими вечерами она сама тешилась скрипкой; правда, звук получался бедственный; у нее не было слуха) буря в душе ее стихла, и, пролив обильные слезы, она пошла к мистеру Уиттекеру с визитом, на дом, в Кенсингтон. Это рука Всевышнего, сказал он. Господь указал ей путь. И теперь, как только в ней вскипали горькие чувства, ненависть к миссис Дэллоуэй и вообще обида и озлобление, она всегда думала о Господе. Она думала о мистере Уиттекере. И ярость сменялась покоем. И сладость бежала по жилам, и приоткрылись губы, когда, тяжко стоя на площадке, она пристальным, зловеще-ясным взглядом следила, как миссис Дэллоуэй выходит из комнаты вместе с дочерью.

Элизабет сказала, что забыла перчатки. Сказала из-за этой ненависти между матерью и мисс Килман. Она просто не могла их видеть вместе. Она побежала наверх, за перчатками.

Но нет, в сердце мисс Килман не было ненависти. Остановив крыжовенные глаза на Клариссе, разглядывая узкое розовое лицо, тонкое тело, всю ее, свежую и элегантную, мисс Килман думала: «Дура! Пустышка! Не знаешь ни радости, ни забот; разменяваешься на мелочь!» И властное

желание в ней поднималось — подмять Клариссу, сорвать с нее маску. Сокрушить бы ее — и мисс Килман стало бы легче. Не тело убить. Ей хотелось покорить ее душу, сбить с нее спесь, чтоб почувствовала. Заставить бы ее плакать; подмять; унизить, чтоб она, на коленях, кричала: «Ваша, ваша правда!» Но на то воля Божья, а не мисс Килман. Это вера должна победить. И мисс Килман смотрела; мисс Килман кипела.

А Кларисса возмущалась. И она христианка — эта женщина! И эта женщина у нее отнимает дочь! И эта — в общении с незримыми духами! Грузная, безобразная, пошлая, без доброты и милости — и такая знает смысл жизни!

— Вы идете с Элизабет в офицерский? — спросила миссис Дэллоуэй.

Мисс Килман сказала: да, в офицерский магазин. Они стояли друг против друга. Мисс Килман не собиралась подлаживаться к миссис Дэллоуэй. Она всю жизнь сама зарабатывала на хлеб. Новую историю она знала великолепно. Из скудных своих доходов она ухитрялась откладывать на дело, в которое верит; эта же дама за всю свою жизнь палец о палец не ударила; никогда ни во что не верила; а дочь воспитывала… но вот явилась Элизабет, слегка задыхаясь, — красивая девочка.

Значит, они собрались в офицерский. И странно: пока мисс Килман стояла здесь, на площадке (стояла, мощная и безгласная, как доисторическое некое чудище в доспехах для первобытных битв), от секунды к секунде таяло понятие о ней, и ненависть (она же к понятиям, а не к людям) исчезала, и от секунды к секунде мисс Килман лишалась размеров и злобности и становилась обыкновенной мисс Килман, в макинтоше, которой, видит Бог, Кларисса бы очень хотела помочь.

Превращение чудища рассмешило Клариссу. Прощаясь с ними, Кларисса смеялась.

И они пошли парочкой — мисс Килман с Элизабет — по лестнице вниз.

И вдруг у Клариссы сжалось сердце от того, что эта женщина уводит от нее дочь, и, перегнувшись через перила, она крикнула:

— Прием! Не забудь, у нас сегодня прием!

Но Элизабет уже отворила парадную дверь; мимо гремел грузовик; она не ответила.

«Любовь и религия! — думала Кларисса, возвращаясь в гостиную, вся клокоча. — Омерзительны, омерзительны и та и другая». Потому что теперь, когда мисс Килман тут не было, ею снова овладело понятие. Самые жестокие две вещи на свете, думала она и так и видела их неуклюжесть,

ярость, властность, каверзность, бесстыдство, когда, в макинтоше, они стоят и подслушивают под дверью; любовь и религия. Разве сама она пыталась кого-нибудь обращать? Разве не желает она каждому, чтоб был самим собою? Она посмотрела в окно на старушку, поднимавшуюся по лестнице в доме напротив. И пусть себе поднимается, раз хочется ей; пусть остановится; а потом пусть, как часто наблюдала Кларисса, пусть войдет к себе в спальню, раздвинет занавеси и опять скроется в комнатной глубине. Как-то это уважаешь: старушка выглядывает в окно и знать не знает, что на нее сейчас смотрят. И что-то тут даже важное и печальное, что ли, — но любви и религии только б это разрушить — неприкосновенность души. Мерзкой Килманше только б это разрушить. А зрелище меж тем такое, что хочется плакать.

И любовь разрушает тоже. Все прекрасное, истинное — все проходит. Например, Питер Уолш. Прелестный человек — умница, полон разных идей. Если тебе надо узнать про Попа, скажем, или про Аддисона, или просто поболтать-посплетничать, обсудить новости — лучше Питера никого не найти. Это ведь Питеру она стольким обязана; это он ей давал читать книжки. Но в каких он женщин вечно влюбляется — пошлые,

вульгарные, заурядные. Влюблен! Через столько лет приходит повидаться и о чем говорит? О себе. Ужасная страсть, подумала она. Унизительная страсть! — подумала она и вспомнила, что Килманша с ее Элизабет идет сейчас в офицерский.

Биг-Бен пробил полчаса.

Как это поразительно, странно, да, странно и трогательно: вот старушка (а они ведь давным-давно с ней соседки) отошла от окна, будто Биг-Бен ее оттянул, звук оттянул, канатом. Огромный — а ведь тоже связан с этой старушкой. Вниз, вниз, вниз, в гущу обыденщины падает перст и делает миг важным. Старушку, Кларисса решила, звук просто понуждает двигаться — но куда? Кларисса следила за ней глазами, когда она отошла от окна. Вот белый чепчик мелькнул в глубине комнаты. Она там еще, в комнате, ходит. И к чему тут символ веры, и молитвы, и макинтоши? Если, думала Кларисса, вот оно — чудо, вот она — тайна: старушка, и она копошится и передвигается от шифоньерки к трюмо. Ее еще видно. И высшая тайна, в которую Килманша якобы проникла или Питер якобы проник, но Кларисса-то знает — ничего подобного, и отдаленно они не проникли, — ведь высшая тайна — вот она: здесь одна комната; там другая. Ну и может религия в это

проникнуть? Или любовь?

Любовь… но тут другие часы, они всегда на две минуты отстают от Биг-Бена, подоспели и вытряхнули полный подол пустяков, будто напомнили, что Биг-Бен, разумеется, величаво, непреложно, торжественно провозгласил конечную истину, но остается еще бездна разного вздора — миссис Мэшем, Элли Хендерсон, вазочки для мороженого, — и бездна разного вздора, плескаясь, танцуя и брызгаясь, неслась в кильватере торжественного звука, который уже золотом лег на морские воды. Миссис Мэшем, Элли Хендерсон, вазочки для мороженого — надо скорей позвонить.

Запинаясь, захлебываясь в кильватере Биг-Бена, вытряхивали опаздывающие часы свой подол пустяков. Мятые, давленые, перемолотые натиском грузовиков, прытью пролеток, трусцой деловитых господ, поступью плавных матрон, куполами и шпилями больниц, учреждений, пустяки, как брызги разбитой волны, окатили мисс Килман, когда она, замерев на секунду, пробормотала: «Все плоть».

Надо держать в узде свою плоть. Кларисса Дэллоуэй ее оскорбила. Что ж, ничего неожиданного. Но она-то была не на высоте; не совладала с плотью. Ну да, нескладная, некрасивая — Кларисса

над этим смеялась и пробудила в ней плотские помыслы: ей стало неприятно так выглядеть рядом с Клариссой. И манеры говорить ей такой не дано. Но зачем ей быть на нее похожей? Зачем? Она всей душой презирала миссис Дэллоуэй. Несерьезная. Недобрая. Вся жизнь — сплошное тщеславие и обман. И все равно Дорис Килман была не на высоте. Честно говоря, она чуть не расплакалась, когда Кларисса Дэллоуэй над ней насмеялась. «Все плоть, плоть», — бормотала она (по своей привычке — бормотать себе под нос), шла по Виктория-стрит и душила гадкое, непослушное чувство. Она воззвала к Господу. Она же не виновата, что уродливая и ей не по карману красивые платья. Кларисса Дэллоуэй над ней насмеялась… но лучше сосредоточиться на другом, пока она не дойдет до той почтовой тумбы. И зато у нее есть Элизабет. Но лучше думать о другом; например, о России; до почтовой тумбы — думать о России.

Хорошо, наверное, сегодня за городом, пробормотала она, перебарывая, как учил ее мистер Уиттекер, свою ужасную обиду на мир, который над ней насмеялся, оскорбил и вытряхнул, снабдив ее внешностью, за которую никто не полюбит, — ужасная внешность. Как она ни при-

чесывалась, лоб все равно был яйцом — голый, белый. Платья все были ей не к лицу. Ну, а для женщины, ясно, тут никакой надежды встретить кого-то. Для кого-то когда-то сделаться главной. Ей теперь часто сдавалось, что кроме Элизабет у нее единственное утешение — еда; крошечные приятности; обед; чай и еще грелка на ночь. Но надо бороться, одолевать себя; иметь веру в Господа. Мистер Уиттекер ей говорил, она не напрасно живет на свете. Но никому же неведомы эти страдания! А он — рукой на распятье и: «Господу ведомо все». Да, а почему ей страдать? Другие вот женщины, вроде Клариссы Дэллоуэй, ничуть не страдают. Но мистер Уиттекер сказал: через муку дается знание.

Она прошла мимо почтовой тумбы, и Элизабет уже повернула в темный прохладный табачный отдел офицерского, а она все еще бормотала про себя слова мистера Уиттекера о знании, дающемся через муки, о плоти. «Плоть», — бормотала она.

— Какой нужен отдел? — справилась Элизабет.

— Нижних юбок, — отрубила она и напрямик зашагала к лифту.

Поднялись. Элизабет направляла ее; она шла в рассеянии, и Элизабет направляла ее, как боль-

шого ребенка, как громоздкий военный корабль. Юбки были темные, скромные, были полосатые, кричащие, плотные, воздушные; и она, в рассеянии, выбрала что-то несусветное, и девушка за прилавком глянула на нее как на сумасшедшую.

Элизабет удивлялась, пока перевязывали покупку, — о чем же думает мисс Килман? Надо выпить чаю, сказала мисс Килман, встряхнувшись, взяв себя в руки. И отправились пить чай.

Элизабет удивлялась — неужто мисс Килман так голодна? Уж очень странно она ела — жадно и то и дело кидала взглядом по блюду глазированных пирожных на столике рядом; а потом, когда дама с ребенком села за столик и мальчик взял пирожное — неужели же мисс Килман действительно стало досадно? Да, мисс Килман стало досадно. Ей самой хотелось этого пирожного — именно розового. Кроме еды, ей почти не дано никаких удовольствий — и последнее отнимают!

У счастливого человека имеются запасные ресурсы, она объясняла Элизабет, ее же, словно колесо с проколотой шиной (она любила такие метафоры), трясет на любом камешке — так говорила она, задержавшись после урока, стоя у камина, обняв свою сумку — «ранец» она ее

называла, — по вторникам, после урока. И еще она говорила о войне. В конце концов есть люди, которые не считают, будто англичане всегда правы. Об этом есть книги. Бывают собрания. Есть иная точка зрения. Не хочет ли Элизабет пойти с ней послушать такого-то (невозможного вида старикана)? В другой раз мисс Килман ее водила в одну церковь в Кенсингтоне, и они пили чай со священником. Она носила ей книжки. Юриспруденция, медицина, политика — все поприща открыты дли женщин вашего возраста, говорила мисс Килман. А у нее вот загублена вся карьера, и неужели она виновата? Господи, отвечала Элизабет, ну конечно же нет.

А мама заходила и говорила, что из Бортона прислали корзину с цветами, и, может быть, мисс Килман захочет выбрать себе цветов? Мама всегда бывала очень-очень любезна с мисс Килман, а мисс Килман всегда превращала цветы в какой-то веник, но болтать о пустяках она не хотела, что интересно ей, то скучно маме, и когда они вместе — на них невозможно смотреть, мисс Килман пыжится и делается безобразной, но она ужасно умная, мисс Килман. Элизабет никогда не думает о бедняках. У них у самих есть все что душе угодно — мать ее каждый день завтракает

в постели; Люси ей тащит поднос; и старушки ей нравятся, только если они герцогини, происходят от лордов. А мисс Килман как-то сказала (во вторник, после урока): «У моего дедушки была москательная в Кенсингтоне». Мисс Килман не похожа ни на кого из знакомых; при ней себя чувствуешь просто ничтожеством.

Мисс Килман приступила ко второй чашке. Элизабет, со своей восточной непроницаемостью, очень прямо сидела на стуле; нет-нет, больше ей ничего не нужно. Она поискала взглядом перчатки — свои белые перчатки. Оказалось, они под столом. Ах, неужели она уходит! Мисс Килман так не хотелось ее отпускать! Молодую, красивую, милую-милую девушку! Большая пятерня мисс Килман растопырилась и сжалась на столе.

Несколько вялая ладонь, показалось Элизабет. И, в общем, ей уже надо было идти.

Но мисс Килман сказала:

— Я же не кончила.

О, разумеется, в таком случае Элизабет готова была подождать, хотя здесь и душно, пожалуй.

— Вы идете сегодня на этот прием? — спросила мисс Килман. Элизабет думала пойти, мама же просила. Ей не следует увлекаться приемами, сказала мисс Килман, принимаясь за последний

кусочек шоколадного эклера.

Элизабет возразила, что не так уж любит приемы. Мисс Килман разинула рот, чуть выдвинула подбородок и заглотнула последний кусочек шоколадного эклера; потом вытерла пальцы, поболтала в чашечке чай.

Она чувствовала, что вот-вот разорвется на части. Какое мучение. Победить бы ее, подчинить и держать в узде, а там хоть умереть; ничего больше не надо; но сидеть, не находить слов, видеть, что Элизабет против нее восстает, что она и ей противна — это слишком; это непереносимо. И скрючились толстые пальцы.

— Я-то на приемах не бываю, — сказала мисс Килман, только чтоб задержать Элизабет. — Меня на приемы не зовут, — сказала и поняла, что вся беда ее — эгоизм; мистер Уиттекер предупреждал; но ничего не поделаешь; слишком ей плохо. — А зачем меня звать? — сказала она. — Я некрасивая, я несчастная. — Она поняла, что это ужасно глупо. Но все потому, что мимо шли и шли со свертками, и презирали ее, не то бы никогда она так не сказала. Все же она была не кто-нибудь, а Дорис Килман. Получила диплом. Кой-чего в жизни достигла. Ее осведомленность в новой истории по меньшей мере заслуживала

уважения.

— Я себя не жалею, — сказала она. — Я жалею… — на языке вертелось «вашу матушку», но нет, не могла она такое сказать Элизабет. — Я куда больше жалею других.

Как бессловесный зверек, который по чьей-то воле очутился перед неведомыми воротами и рвется умчаться прочь, молчала Элизабет Дэллоуэй. Мисс Килман, кажется, хотела что-то еще сказать?

— Вы уж совсем-то не забывайте меня, — сказала Дорис Килман; голос дрогнул; в ужасе ускакал прочь к далекому краю поля спугнутый бессловесный зверек.

Растопырилась и сжалась на столе большая пятерня.

Элизабет повернула голову. Подходила официантка. Надо уплатить в кассу, сказала Элизабет, и ушла, и потянула за собой, чувствовала мисс Килман, все кишки ее, потянула их за собой через весь зал и, рванув в последний раз, очень вежливо на прощанье кивнула и вышла.

Она ушла. Мисс Килман сидела за мраморным столиком в окружении эклеров, и ее дважды, трижды пронзила острая мука. Ушла. Миссис Дэллоуэй одержала верх. Элизабет ушла. Красота

ушла. Юность ушла.

А она осталась сидеть. Потом она встала и вот пошла, ударяясь о столики, покачиваясь, и кто-то ее догнал, с забытым пакетом; и она заблудилась, застряла перед сундуками, приготовленными для отправки в Индию; попала в самую гущу наборов для рожениц и белья для младенцев; мимо бездны товаров, скоропортящихся и вечных, вин, колбас, цветов и бумаги, мимо разнообразия запахов, сладких, кислых, шатаясь, она пробралась, увидела себя самое, шатающуюся, в сползшей набекрень шляпе, красную — во весь рост в зеркале; и выбралась наконец на улицу.

Башня Вестминстерского собора высилась перед ней — обиталище Господа. Среди грохота улицы — обиталище Господа. Со свертком в руке, она тяжко ринулась к другой святыне, к Аббатству, и там, держа перед собой пальцы крышей, села рядом с другими, тоже нашедшими тут прибежище; прихожане разного пошиба, держа перед собой пальцы крышей, они были лишены социального положения, почти лишены пола; но стоило им эти пальцы отнять от лица, как тотчас же обнаруживались благоговейные, средние англичане и англичанки, причем иным не терпелось взглянуть на восковые фигуры.

Но мисс Килман не опускала рук; то она оставалась одна, то вновь ее окружали. С улицы входили на смену ушедшим, и пока шаркали вокруг могилы Неизвестного солдата, пока глазели по сторонам, она заслоняла глаза пальцами, чтоб в этой удвоенной тьме — ибо свет в Аббатстве бесплотный — вознестись над желаниями, суетой и товарами, освободиться от ненависти и от любви. Руки у нее дергались. Она будто боролась. А для других Господь был доступен, и удобна к нему тропа. Мистер Флетчер, на пенсии, из министерства финансов, миссис Горэм, вдова известного адвоката, приближались к нему запросто и, сотворив молитву, откидывались на сиденье, наслаждались музыкой (нежно звенел орган) и видели, как на краю скамьи мисс Килман молится, молится, молится, и, застряв на пороге своего дольнего мира, они полагали сочувственно, что и ее душа обитает в тех же пределах; душа воздушная, эфемерная; не эта женщина, но ее душа.

Однако мистеру Флетчеру было пора. Ему пришлось побеспокоить мисс Килман, и, сам будучи одет как картинка, он несколько огорчился неряшеством бедной особы; волосы распущены; сверток валяется на полу. Она не сразу его пропустила. Но покуда он стоял и оглядывал

беломраморные статуи, серые оконные переплеты, все несметные сокровища (он чрезвычайно гордился Аббатством), мощь и грузность ее тела, время от времени тяжко ерзающего по скамье (до того труден был доступ к ее Господу, до того необоримы желания), впечатлили его, как впечатляли они миссис Дэллоуэй (которая весь день не могла ее выкинуть из головы), преподобного Эдварда Уиттекера и Элизабет тоже.

Элизабет ждала автобуса на Виктория-стрит. Она радовалась, что вырвалась из магазина. Домой ей идти пока не хотелось. Хорошо погулять немного на свежем воздухе. Надо сесть в автобус. И уже, пока она стояла на остановке в своем превосходно сшитом плаще, — начиналось… Уже начинали ее сравнивать с тополями, и ранней зарей, и гиацинтами, ланями, текучей струей и садовыми лилиями; а это страшно отравляло ей жизнь, потому что она мечтала делать что вздумается в деревенской тиши, а всем хотелось ее сравнивать с лилиями, и ее заставляли ходить на приемы и торчать в этом жутком Лондоне, когда так хорошо в деревенской тиши только с отцом и собаками.

Автобусы налетали на остановку, замирали, трогались с места, вульгарно сверкая красным

и желтым лаком. В какой сесть? В общем, все равно. Лишь бы не протискиваться. Элизабет предпочитала покой. Ей именно живости не хватало, но глаза у нее были прекрасные, китайские, восточные глаза, и с такими плечами и осанкой, говорила ее мать, она всегда выглядела прелестно; а в последнее время, особенно по вечерам, когда разговор занимал ее (взволновать ее, впрочем, не удавалось), она казалась почти красавицей — величавая, тихая. Но о чем она думала? Все влюблялись в нее, она же не в шутку скучала. Из-за того что — начиналось. Мать видела — начинались комплименты. То, что ей в самом деле наплевать на поклонников — и на тряпки, кстати, тоже, — даже беспокоило Клариссу, но, может, так оно лучше, может, все эти морские свинки, щенки со своей чумкой и создают ее очарование? А теперь еще дружба эта нелепая с мисс Килман. Ничего, думала Кларисса в три часа дня, читая барона Марбо, потому что сон к ней не шел, ничего, значит, есть у девочки сердце.

Вдруг Элизабет шагнула вперед и очень уверенно, прежде всех, влезла в автобус. Она села наверху. Смельчак, пират, взял с места, помчался. Пришлось ухватиться за поручни — он был насто-

ящий пират, лихой, удалой, частный пиратский автобус, колесящий по чужим колеям, — он несся стремглав, он опасно ловчил, того пассажира подхватит, того не приметит, то вьется угрем, то ухарем прет, и вот безоглядно, на всех парусах он летит по Уайтхоллу. Вспоминает ли Элизабет хоть на секунду о бедняжке мисс Килман, которая ее любит без ревности, для которой она словно лань на лугу, луна в облаках? Элизабет наслаждалась свободой. Восхитительным свежим воздухом. В магазине была невозможная духота. И было почти как скакать верхом — вот так лететь по Уайтхоллу. И каждому повороту автобуса стройное тело в светлом плаще вторило вольно, как наездница, как резная нереида на форштевне, потому что ее слегка растрепал ветерок; жара придала щекам бледность белого крашеного дерева; а прекрасные глаза, не встречая другого взгляда, смотрели перед собой — яркие, невидящие, с застывшей, непостижимой непорочностью статуи.

Не тверди мисс Килман вечно о собственных муках, с ней было бы легче. И разве вообще все это правильно?

Если оттого, что ежедневно торчишь в комитетах с утра до вечера (она его, когда в Лондоне,

почти и не видит), облегчается жизнь бедняков, так уж кто-кто, а папа… И если это у мисс Килман называется быть христианином… но все так сложно. О, ей хотелось бы проехать чуть подальше. До конца Стрэнда. Еще пенни? Вот, пожалуйста, пенни. До конца Стрэнда.

Она любит больных. Все поприща открыты для женщин вашего поколения, сказала мисс Килман. Можно стать врачом. Или владелицей фермы. Животные вечно болеют. Можно иметь тысячу акров, иметь в подчинении людей. Навещать их в бараках. Вот Сомерсет-Хаус. Можно стать превосходной хозяйкой фермы — и, странно, хоть и связанная отчасти с мисс Килман, в основном эта мысль ей пришла из-за Сомерсет-Хауса. Он такой роскошный, важный, такой серый, большой. Ей нравилось думать, что люди тут работают. Нравились церкви, будто вырезанные из серой бумаги и выдерживающие напор Стрэнда. Совсем не то что Вестминстер, думала она, выходя на Чансери-лейн. Все тут такое серьезное; деловое. Короче говоря, ей надо иметь профессию. Стать врачом, разводить животных, пройти в парламент, если понадобится, — и все это было решено из-за Стрэнда.

Ноги прохожих быстро-быстро их несли по

делам, руки клали камень на камень, головы заняты были не чушью (очень мило, конечно, сравнивать женщину с тополем, но только слишком уж глупо), а мыслями о кораблях, капиталах, законе, управлении, и все тут глядело так важно (рядом Темпл), так радостно (река!), богоугодно (церковь рядом), что она решила твердо — пусть мама как хочет — стать врачом или разводить животных. Только бы побороть свою лень.

Но об этом лучше молчать. Это, наверное, глупо. Просто такое находит, когда человек один; и дома, которые неизвестно даже какой архитектор построил, толпы из Сити — гораздо сильнее того священника в Кенсингтоне, сильнее всех книжек, которые носит мисс Килман, будоражат душу и вдруг поднимают к поверхности то, что там сонно лежало на илистом дне, будто вдруг потянулся спросонья ребенок в постельке; да, именно такое — вздох, потягивание, толчок, открытие — остается в душе навсегда. Но вот все сразу опять оседает на дно.

Пора домой. Переодеваться к ужину. Сколько сейчас? Где часы?

Она посмотрела вдоль Флит-стрит. Немножко прошла к собору Святого Павла; она шла с опаской, будто забралась среди ночи в чужое жилье

и пробирается на цыпочках, со свечой и дрожит, что вот-вот хозяин громыхнет дверью спальни и огреет вопросом, чего ей тут надо; она не давала себя сманить странным закоулочкам, зазывным поворотам, как не стала бы толкать чужой двери, чтоб не вломиться ненароком в спальню, гостиную или, того гляди, в кладовую. Дэллоуэй на Стрэнде — залетная птица. Она была лазутчица, отбившаяся от своих, и шла на авось, наобум.

Мама считает, что она ужасно незрелая, просто дитя, обожающее кукол и старые шлепанцы; совершенный младенец; и это прелестно. Но ведь у Дэллоуэев в роду развита общественная жилка. Аббатисы, школьные директрисы — по женскому счету сановницы, — хоть ни одна не блистала, но все же. Она еще чуть-чуть прошла в сторону Святого Павла. Ей нравился здешний шум — родственный, сестринский, братский. Добрый шум. Грохот немыслимый; вдруг еще трубы вступили (это безработные), вонзились, врезались в грохот; военная музыка; будто тут маршируют; но если б тут умирали, если б какая-то женщина сейчас испустила последний вздох, а единственный свидетель самого ответственного ее дела отворил бы окно на Флит-стрит, эта военная музыка, этот грохот полетел бы к нему снизу — безразличный,

победный, утешный.

Он шел мимо сознания. Мимо счастья и горя. И потому как раз и мог утешить даже того, кто слепнущим взглядом проводил последнюю судорогу сознания на уже мертвом лице.

Как бы ни задевала человеческая забывчивость, как бы ни ранила неблагодарность, этот голос тек год за годом и вбирал в себя все: этот обет; этот фургон; жизнь; это шествие; все он подхватывает и несет, как плывущий ледник подхватывает кость, и голубой лепесток, и дубы — подхватывает и несет.

Но уже очень поздно, оказывается. Что бы мама сказала, если б увидела, куда она забрела, и одна? Она повернула обратно.

Ветер взвился (несмотря на жару, было ветрено) и тонкой черной вуалью завесил солнце и Стрэнд. Вылиняли лица; автобусы вдруг перестали сверкать. Облака, хотя их горную белизну хотелось рубить косарем и, спускаясь золотыми пологими скатами к синим небесным газонам, они казались удобной и прочной резиденцией богов в вышине, — тем не менее не уставали перемещаться. Будто по сигналу и следуя заранее продуманной схеме, то вдруг обваливалась какая-нибудь вершина, то целое скопище, вели-

чиной с пирамиду, прежде незыблемое, оседало и рушилось либо снималось с якоря и важно, всей массой, отплывало в новую гавань. Но даже когда они застывали, прочно прибившись к своим местам, в единодушном покое, ничто не могло быть свободней, свежее, подвижней их подпаленной золотом белизны; они были вечно готовы меняться, стремиться, струиться, и, сосредоточившись в недвижности, не расходуя скопленной мощи, они то свет насылали на землю, то тень.

Спокойно, уверенно Элизабет Дэллоуэй вошла в автобус, который ехал в Вестминстер.

Являлись, скрывались, подмигивали, посылали сигналы свет и тень, они стену делали серой, бананы — ярко-желтыми, Стрэнд делали серым, автобусы — ярко-желтыми в глазах Септимуса Уоррен-Смита, покуда он лежал на диване и смотрел, как жидкое золото то вспыхнет, то сгаснет с поразительным проворством живого создания — на розах, обоях. За окном деревья гребли по глуби воздуха сетью листвы; шум воды стоял в комнате, и птичий гомон захлебывался в волнах. Множество щедрот изливалось ему на голову, а рука лежала на спинке дивана, как лежала его рука на гребне волны прежде, когда он купался и слышал, что где-то вдали на берегу собаки лают

где-то вдали и лают. Не страшись, твердит тогда сердце, не страшись.

Он и не боялся. Каждый миг Природа веселым намеком, вроде того золотого пятнышка, которое прыгало по обоям — вот, вот оно, вот, — показывала ему, что скоро, мол, скоро, в качанье плюмажа, в потоке волос и в складках плаща, прекрасная, вечно прекрасная, стоя к нему вплотную, она выдохнет через рупором сложенные ладони Шекспировы речи, раскроет свой замысел.

Реция сидела за столом, вертела в руках шляпку и смотрела на него; смотрела, как он улыбается. Значит, ему хорошо. Она видеть не могла эту его улыбку. Разве так живут женатые пары? Что за муж — вечно дергается, смеется, часами молчит, а то вдруг ни с того ни с сего велит писать под диктовку. В ящике стола было полно этой писанины; про войну; про Шекспира; насчет великих открытий; что смерти нет. В последнее время он вдруг стал возбуждаться ужасно (а доктор Доум и сэр Уильям Брэдшоу в один голос твердили — для него хуже нет возбуждения), стал махать руками и кричать, будто он знает истину! Все знает! И якобы его друг, этот Эванс, которого убили, к нему приходил. И якобы пел за ширмой. Она все дословно записывала. Кое-что было очень красиво;

кое-что — полный бред. И вечно он остановится на полуслове, передумает; что-то хочет добавить; что-то новое слышит; поднимает руку и слушает. Но она ничего никогда не слышала.

А как-то они вошли, а девушка, которую они наняли убирать комнату, читала его бумажки и хохотала. Получилось ужасно. Септимус стал орать про человеческую жестокость, что люди мучат друг друга, раздирают на части, павших, кричал, раздирают на части. И еще он сто раз говорил: «Доум нас одолел». Насочинял разных историй про Доума; как Доум ест овсяную кашу; как Доум читает Шекспира — а сам хохочет или рычит от бешенства; этот Доум для него просто жуткое что-то. Он его прозвал «человеческая природа». И еще у него видения. Будто он утонул, и лежит на скале, и чайки рыдают над ним. И заглядывает под диван — в море. Много раз он музыку слышал. Это просто шарманка была, или кто-то кричал на улице. А он: «Как хорошо!» — и у него из глаз слезы, а для нее это было самое-самое страшное, чтоб такой человек, как Септимус, ведь он воевал, отличился — чтоб такой человек плакал… И еще иногда он лежит, и вслушивается, и вдруг начинает кричать, что он падает, падает, падает в огонь! Она даже проверяла, нет ли огня,

так он кричал. Но никакого огня. Ничего. И она объясняла ему, что это ему приснилось, и он под конец успокаивался. Но ей и самой иногда даже делалось страшно. Она сидела и вздыхала над шитьем.

Она вздыхала прелестно и нежно, как ветер за лесом по вечерам. Вот она положила ножницы. Вот повернулась за чем-то. Из шороха, скрипа, легкого стука что-то строилось на столе, за которым она сидела и шила. Он сквозь ресницы видел ее размытый очерк; черную маленькую фигурку, лицо и руки; видел, как она поворачивается, берет катушку или ищет (вечно она все теряет) моточек шелка. Она мастерила шляпку для замужней дочери миссис Филмер, по фамилии… фамилию он забыл.

— Как фамилия замужней дочери миссис Филмер? — спросил он.

— Миссис Питерс, — сказала Реция. Она сказала, что шляпка, пожалуй, маловата. Миссис Питерс такая крупная, но она ей не нравится. Просто миссис Филмер к ним очень добра — «Сегодня виноград принесла», — и Реции захотелось что-то сделать для нее в знак благодарности. На днях она зашла в комнату, а миссис Питерс — она думала, их дома нет — сидит и слушает граммофон.

— Да что ты? — спросил он. — Граммофон слушала? — Ну конечно; она ведь тогда же ему сказала; она входит, а миссис Питерс слушает граммофон.

Очень осторожно он стал открывать глаза, чтоб проверить, есть ли тут граммофон. Но настоящие вещи — настоящие вещи так возбуждают. Надо поосторожней. Чтоб не спятить. Сначала он оглядел модные журналы на нижней полке, потом, постепенно, перевел глаза на граммофон с зеленой трубой. Все было очень отчетливо. Потом, набравшись храбрости, он посмотрел на буфет; тарелка с бананами; гравюрка: королева Виктория с принцем Альбертом; на каминной полке вазочка с розами. Ни одна вещь не шевелилась. Все были неподвижны; все настоящие.

— Она женщина со злым языком, — сказала Реция.

— А чем занимается мистер Питерс? — спросил Септимус.

— Ах… — Реция старалась припомнить. Кажется, миссис Филмер говорила, он коммивояжер в какой-то компании.

— Вот сейчас, например, он в Гулле.

— Вот сейчас! — Она это сказала со своим итальянским акцентом. Она сама это заметила. Он

прикрыл глаза рукой, так, чтобы видеть сразу только кусочек ее лица, сперва подбородок, потом нос, потом лоб — вдруг лицо изуродовано, вдруг на нем какая-то страшная метка? Но нет, вот она, сидит, как всегда, и шьет, собрав губы с тем напряженным, с тем печальным выражением, какое всегда бывает у женщины, когда она шьет. Ничего страшного, уверял он себя, глядя во второй раз и в третий на ее лицо, руки. В самом деле, что может быть страшного или отталкивающего в ней, когда в ярком свете дня она сидит и шьет? У миссис Питерс злой язык. Мистер Питерс в Гулле. И зачем тут неистовство и пророчество? Зачем после бичевания надо спасаться бегством? Зачем плакать, глядя на облака? И зачем жаждать правды и возвещать ее миру, когда Реция втыкает булавки в платье, а мистер Питерс находится в Гулле? Чудеса, откровения, муки, одиночество и провал сквозь морскую пучину — вниз-вниз-вниз — в бездны огня — все сгорело дотла, потому что, пока он глядел, как Реция мастерит соломенную шляпку для миссис Питерс, ему вдруг показалось, что он лежит под пологом цветов.

— Она чересчур маленькая для миссис Питерс, — сказал Септимус.

Впервые за столько дней он заговорил по-чело-

вечески! Ну да, конечно, шляпка ей мала, просто смешно, сказала она. Но миссис Питерс хотела такую.

Он взял шляпку у нее из рук. Сказал: «Как на обезьянку шарманщика».

До чего же она обрадовалась! Давным-давно они так не хохотали вдвоем над тем, что только им, мужу с женой, понятно! То есть, если б зашла, скажем, миссис Питерс или еще кто-нибудь, им бы и невдомек, над чем они с Септимусом хохочут.

— Вот! — сказала она и сбоку приколола розу к шляпке. Никогда она не была так счастлива! В жизни!

Но Септимус сказал — получилось еще смешней. Теперь бедняжка — точь-в-точь свинья на ярмарке. (Никто, кроме Септимуса, не мог ее так рассмешить.)

Что у нее там в шкатулке? У нее ленты, бисер, кисточки, искусственные розы. Она все вывалила на стол. Он стал подбирать цвета, потому что руки-то у него были грабли, он даже сверток упаковать не умел, но зато у него был удивительный глаз, и часто он ей очень верно советовал, иногда, конечно, предлагал совершенную чушь, но иногда удивительно верно советовал.

— Будет ей красивая шляпка! — приговаривал он про себя, а Реция на коленях стояла рядом и заглядывала ему через плечо. Ну вот, готово — то есть наметка; осталось сшить. Только надо очень-очень внимательно шить, сказал он, чтобы все осталось, как он наметил.

И она стала шить. Когда она шьет, думал он, она как чайник на огне — пыхтит, бормочет, вся в работе, и хватают и ходят сильные, заостренные пальчики; блестит, мелькает игла. Пусть солнце тускнеет и вновь проступает на кисточках, на обоях — он подождет, думал он, полежит на диване, поглядывая на свой перекрученный носок; он подождет, отлежится в тепле, в мешке тишины, на какой набредаешь порою, выйдя к вечерней опушке, где, то ли из-за понижения почвы, то ли от расположения деревьев (надо рассуждать научно, прежде всего научно) плавает задержавшееся тепло и воздух ударяет тебя по щекам, словно птичье крыло на лету.

— Ну вот, — сказала Реция, вертя шляпку миссис Питерс, — пока все. А потом уж… — и фраза потекла дальше — кап-кап-кап — как веселый кран, который забыли закрыть.

Роскошь, прелесть. Никогда еще он так не гордился своей работой. Настоящая, осязаемая,

ощутимая — шляпка миссис Питерс.

— Ты только посмотри, — говорил он.

Да, она всегда будет счастлива, глядя на эту шляпку. Он стал прежний, он хохотал. Они были вместе, наедине. Она будет всегда любить эту шляпку.

Он сказал, чтоб она примерила шляпку.

— Ой, но я же в ней буду чудная! — вскрикнула она и отбежала к зеркалу, глянула с одной стороны, с другой. А потом сдернула шляпку, потому что в дверь постучали. Неужели сэр Уильям Брэдшоу? Уже прислал?

Нет! Оказалось, просто девчушка с вечерней газетой.

И было все как всегда — как бывало у них каждый вечер. Девчушка на пороге сосала палец; Реция стала на четвереньки; Реция ворковала и чмокала; Реция вынула из ящика стола кулек конфет. Так бывало всегда. Все по порядку. Так она устраивала — все своим чередом. Они танцевали, они скакали по комнате. Он взял газету. «Суррей проиграл, — читал он. — Жара усиливается». Реция повторяла: «Суррей проиграл, жара усиливается», и это тоже входило в игру с внучкой миссис Филмер, и обе хохотали, и перебивали друг дружку, и шла игра своим чередом. Он очень

устал. Ему было очень хорошо. Хотелось спать. Он закрыл глаза. Но как только он перестал видеть, шум игры стих, сделался странным, и уже было так, будто толпа кричит, что-то ищет и не находит, кричит и бежит мимо. Его потеряли!

Он в ужасе дернулся. Что это? На буфете тарелка с бананами. Никого. (Реция повела девочку к матери: ей пора было спать.) Вот оно: быть навек одному. Приговор, оглашенный еще в Милане, когда он вошел в комнату и увидел, что они кроят коленкор; быть навек одному.

Один — с буфетом, с бананами. Один — распростертый, поверженный, на этой холодной высоте — но не на холме; не на утесе; на диване миссис Филмер. Ну а видения, лица, голоса мертвых — где они? Перед ним была ширма с черными бамбуками и синими ласточками. Там, где он видел горы, видел лица, видел красоту — там была ширма.

— Эванс! — крикнул он. Никто не отозвался. Пискнула мышь, не то штора прошелестела. Вот и голоса мертвых. Ему остались — ширма, ведерко с углем, буфет. Что ж, ладно, пусть ширма, ведерко с углем, буфет… но тут Реция влетела в комнату, она быстро-быстро говорила.

Пришло какое-то письмо. У всех меняются пла-

ны. Теперь миссис Филмер не сможет поехать в Брайтон. Миссис Уильямс уже не удастся предупредить, и Реция находила, что, правда, это ужасно, ужасно досадно, но взгляд ее упал на шляпку, и она подумала… может быть… надо… чуть-чуть… и голос мелодически расплескался.

— Черт побери! — крикнула она (ее ругательства тоже были одной из любимых их шуток); сломалась иголка. Шляпка, девчушка, Брайтон, иголка. Своим чередом; все своим чередом. Она шила.

Ей хотелось, чтоб он сказал, лучше стала шляпка или нет от того, что она чуть переместила розу. Она сидела на диване, у него в ногах.

Вот теперь они совсем счастливы, вдруг сказала она и шляпку отложила, потому что теперь она все-все могла ему сказать. Она могла ему сказать все, что придет на ум. Это было чуть не первое, что она поняла про него в тот вечер, в том кафе, куда он вошел со своими приятелями, англичанами. Он вошел, как-то робко огляделся, и фуражка упала у него, когда он ее вешал. Ей это запомнилось. Она знала, что он англичанин, хоть и не похож на тех крупных англичан, которых обожала сестра; он всегда был худенький; но у него был красивый, свежий цвет лица; и своим

большим носом, своими блестящими глазами и тем, как он сел — немного сгорбясь, — он напомнил ей, она часто ему говорила, молодого ястреба, в тот первый вечер, когда она его увидела, когда они играли в домино, а он вошел — он напомнил ей молодого ястреба; но к ней он всегда был добр. Она ни разу не видела его злым или пьяным, просто он страдал иногда из-за этой ужасной войны, но и то, как только она входила, он брал себя в руки. Все, абсолютно все, любое затруднение в работе, все, что придет на ум, она тут же могла ему выложить, и он сразу ее понимал. Даже дома не так ее понимали. А он ведь старше ее и такой умный, такой серьезный: хотел, чтобы она читала Шекспира, когда она еще и детскую сказочку по-английски не могла одолеть! — он был умный, ученый, он мог ей помочь. И она могла ему помочь.

Но пока эта шляпка! А потом (ведь поздно уже) сэр Уильям Брэдшоу.

Она приложила руки к вискам и ждала, когда он скажет, нравится ему шляпка или не нравится, она сидела, ждала, опустив веки, и он понимал ее душу, она была как птичка, которая прыгает с ветки на ветку и всегда очень точно садится; он следил за ее порханием; а она сидела в вольной,

небрежной позе, своей излюбленной позе, и, стоило ему что-то сказать, она сразу же улыбалась, — так птичка садится на ветку, сразу, всеми коготками вцепляясь в сучок.

Но вдруг он вспомнил. Брэдшоу сказал: «Общество самых дорогих нам людей не полезно для нас, когда мы больны». Брэдшоу сказал: его надо научить отдыхать. Брэдшоу сказал: им надо расстаться.

«Надо, надо» — почему «надо»? Разве Брэдшоу хозяин ему? — Какое право имеет Брэдшоу говорить мне — «надо»? — спрашивал он.

— Это потому, что ты грозился покончить с собой, — сказала Реция. (Слава Богу, теперь она все могла сказать Септимусу.)

Значит, он в их власти! Доум и Брэдшоу его одолели! Чудовище с красными ноздрями пронюхало все! И говорит «надо»! Где бумажки? То, что он набрасывал?

Она принесла бумажки, то, что он набрасывал, то, что она за ним записывала. Высыпала все на диван. Они вместе стали их разглядывать. Чертежи, рисунки, крошечные мужчины и женщины, размахивающие палочками, как оружием, с крыльями — ведь это же крылья? — за спиной; круги, обведенные вокруг шиллингов и шестипенсо-

виков — солнце и звезды; зигзаги пропастей с покорителями высот на них, связанными вместе — в точности как ножи и вилки; море, и на нем лица, хохочущие — по-видимому, среди волн; карта мира. «Сожги!» — кричал он. А теперь — его записи; как мертвые поют за рододендронами; оды к Времени; беседы с Шекспиром; Эванс, Эванс, Эванс — его послания из страны мертвых; нельзя рубить деревья; сказать премьер-министру. Всеобъемлющая любовь — смысл мира. «Сожги!» — кричал он.

Но Реция их накрывала ладошками. Кое-что так красиво, она считала. Она хотела их перевязать (конверта у нее не было) шелковой ленточкой.

Если даже его увезут, она говорила, она поедет с ним. Их не могут разлучить против воли, она говорила.

Она сровняла уголки, собрала бумажки в ровную стопку и, почти не глядя, их перевязывала, она сидела с ним рядом, тут же, сидела, думалось ему, будто сложив лепестки. Она — дерево в цвету; а сквозь ветви глядело лицо законницы, достигшей святилища, где никто ей не страшен — ни Доум, ни Брэдшоу; чудо, победа — великая и окончательная. Он видел, как, спотыкаясь, она подымается по страшной лестнице, осевшей под

тяжестью Доума и Брэдшоу, которые никогда не весят меньше семидесяти килограммов, посылают жен в суд, зарабатывают десять тысяч в год и говорят о пропорциях; которые выносят каждый свой приговор (Доум говорит одно, Брэдшоу — другое), и оба все-таки судьи; которые путают видения с буфетом; ничего толком не видят и, однако же, правят, однако же, мучат. И вот их-то она победила.

— Ну все! — сказала она. Она перевязала бумажки; Теперь их никто не найдет. Она их спрячет.

И ничто, она говорила, не может их разлучить. Она сидела рядом и называла его так, как называется ястреб, не то ворон, который, хотя и злой и губитель полей, все равно вылитый он. Никто их не разлучит, она говорила.

Потом она встала, чтоб идти в спальню, складывать вещи, но услышала внизу голоса, подумала, что, наверное, пришел доктор Доум, и побежала вниз, чтоб его не впускать.

Септимус слышал — она говорила с Доумом на лестнице.

— Почтеннейшая, я пришел к вам по-дружески, — говорил Доум.

— Нет. Я вас не пущу к моему мужу, — сказала она.

Он так и видел — распростершей крылья наседкой она заграждала вход. Но Доум настаивал.

— Пустите же меня, почтеннейшая… — сказал Доум и оттеснил ее (Доум был крепкого телосложения мужчина).

Доум поднимался по лестнице, Сейчас ворвется. Скажет: «Ну-с, хандрим, а?» Доум его одолеет. Нет же! Только не Доум. Не Брэдшоу. Он встал, качнулся, неловко подпрыгнул на одной ноге, потом на другой; на ручке чистого красивого хлебного ножа миссис Филмер было вырезано «хлеб». Не хочется его портить. Открыть газ? Поздно, сейчас войдет Доум. Можно бритвы, но Реция их убрала, всегда убирает. Остается только окно, большое окно меблирашек в Блумсбери; скучное, хлопотное, мелодраматическое предприятие — открывать окно и выбрасываться. Это в их духе трагедия, не по душе ему или Реции (Реция всегда с ним). Доум и Брэдшоу любят такое. (Он сел на подоконник.) Он подождет до самой последней секунды. Ему не хочется умирать. Жизнь хороша. Солнце светит. Но люди… Старик спустился по лестнице в доме напротив и снизу уставился на него. Доум у двери. «Вот тебе!» — крикнул он и рванулся, ринулся вниз, на оградку подвала миссис Филмер.

— Трус! — крикнул доктор Доум, врываясь.

Реция подбежала к окну; она увидела; она поняла. Доктор Доум и миссис Филмер столкнулись лбами. Миссис Филмер трясла фартуком и заталкивала ее в спальню. Бегали, бегали по лестнице вверх-вниз. Доктор Доум вошел белый как полотно, он весь дрожал и протягивал ей стакан. Надо быть умницей и выпить вот это, он говорил (Что тут? Сладкое что-то), потому что муж ее страшно изувечен, не придет в сознание, ей не надо на него смотреть, надо пощадить себя, ей предстоит еще давать показания, бедняжке. Кто бы мог подумать? Дело секунды, нашло, и никто совершенно не виноват (объяснял он миссис Филмер). И какого черта ему это понадобилось, доктор Доум решительно не постигал.

Ей казалось, пока она пила это сладкое из стакана, что она открывает стеклянную дверь и выходит в сад. Только где? Часы пробили — раз, два, три; какой разумный звук, не то что вся эта толчея и шушуканье. Как сам Септимус. Она почти совсем заснула. А часы били еще четыре, пять, шесть, и миссис Филмер махала фартуком (а они не внесут сюда тело?) и казалась частью сада или флагом. Когда-то, она видела, флаг тихо струился с мачты — давно когда-то, еще в Венеции, куда она ездила с тетей. Такие почести отдают

павшим воинам, а Септимус был на войне. Воспоминания у нее почти все были счастливые.

Вот она надела шляпку и бежит полями, — только где это? — она бежит к какой-то горе, где-то у моря, потому что тут корабли и бабочки, чайки; и они сидели на скале. Они и в Лондоне там сидели, и, сквозь сон, в дверь спальни входили — шумок дождя, шепот, шуршание сухих колосьев и ласка моря, оно, ей казалось, в гулкой раковине несло их обоих, и что-то ей бормотало, и выплескивало ее на берег, и разбрасывало, рассыпало, как шелестящие на могиле цветы.

— Он умер, — сказала она и улыбнулась бедной старушке, которая ее стерегла, устремив честный, голубой взгляд на дверь. (А они его сюда не внесут?) Но миссис Филмер только головой качала. Нет, нет и нет! Его увозят. Почему бы ей не сказать? Муж с женою должны до конца быть вместе — так считала миссис Филмер. Но надо слушаться доктора.

— Пусть она поспит, — говорил доктор Доум, щупая у нее пульс. Она видела крупный очерк тела, темный против окна. Так это — доктор Доум.

Тоже достижение цивилизации, думал Питер Уолш. Достижение цивилизации, думал он, когда над уличным шумом взвился тоненький, острый

гудочек. Четко, быстро карета «скорой помощи» неслась в больницу, человечно, мгновенно подхватив какого-то бедолагу всего минуту назад где-то рядом на перекрестке — кто-то упал без сознания, попал под машину, кому-то кирпич свалился на голову — вот так: идешь и не знаешь… Цивилизация. Когда приедешь с Востока, в Лондоне поражает прежде всего деловитость, собранность, дух солидарности. Все машины, все грузовики с готовностью, тотчас пропускали «скорую помощь». Мрачновато, пожалуй. А может быть, трогательно — какое почтение к этой карете и к бедной жертве. Деловой человек поспешает домой, но тотчас со страхом вспоминает о собственной жене или о том, как легко бы он сам мог очутиться сейчас на клеенке в карете рядом с врачом и сестрой… Но как раздумаешься о врачах да о трупах, сразу делаешься мрачным, сентиментальным; слава богу, радость, даже вожделение какое-то, вызываемое тем, что ловят вокруг глаза, спасает от всех этих мыслей — гибельных для искусства, для дружбы. Безусловно. И вообще, думал Питер Уолш, когда карета свернула, и тоненький острый гудочек был слышен из-за угла, и потом еще, пока она пересекала Тоттенхем-Корт-роуд, надсадно звеня, — в том-то и преимущество

одиночества; наедине с собой можно делать что хочешь. Плачь себе на здоровье, если не видит никто. Эта его впечатлительность была для него сущим бедствием в Индии, в английском кругу. Вечно он плакал некстати или некстати смеялся. Что-то такое во мне, ничего не поделаешь, думал он, останавливаясь возле почтовой тумбы, вдруг помутившийся от слез. Из-за чего, спрашивается, плакать? Бог его знает. Наверное, глаза увидели какую-то красоту, или просто сказался груз этого дня, который с утра, с визита Клариссе, томил жарой, яркостью и кап-кап-капаньем впечатлений, одного за другим в погреб, где они останутся все в темноте, в глубине — и никто не узнает. Наверное, из-за этого, из-за этой тайности, полной и нерушимой, жизнь — как сад, где, петляя, заглохшие тропы бегут к неведомым уголкам, — вечно ошеломляет его; да, именно ошеломляет; от таких вот мгновений захватывает дух; как сейчас, возле почтовой тумбы напротив Британского музея — когда вдруг раскрывается связь вещей; карета «скорой помощи»; жизнь и смерть; бурей чувств его вдруг будто подхватило и унесло на высоченную крышу, и внизу остался только голый, белый, ракушками усыпанный пляж. Да, она была для него сущим бедствием в Индии, в

английском кругу — эта его впечатлительность.

Как-то Кларисса, когда они ехали вместе в автобусе, наверху, — Кларисса, у которой в те времена стремительно менялось настроение — то она в отчаянии, то сияет, и вечно как натянутая струна, — и всегда с ней бывало так интересно, она примечала забавные сценки, людей или вывески из автобуса, когда они колесили по Лондону и набирали, бывало, полные сумки сокровищ на Каледонском базаре, — Кларисса как-то сочинила целую теорию — у них вообще хватало теорий, бездна разных теорий, как обычно у молодых. Ей хотелось объяснить это чувство досады: ты никого не знаешь достаточно; тебя недостаточно знают. Да и как узнаешь другого? То встречаешь человека изо дня в день, то с ним полгода не видишься или годами. Удивительно — он соглашался с Клариссой, — как недостаточно мы знаем людей. И вот, на Шафтсбери-авеню, в автобусе она сказала: она чувствует, что она — всюду, сразу всюду. Не тут-тут-тут (она ткнула кулачком в спинку автобусного кресла), а всюду. Она помахала рукой вдоль Шафтсбери-авеню. Она — в этом во всем. И чтобы узнать ее или там кого-то еще, надо свести знакомство кой с какими людьми, которые ее дополняют; и даже узнать кой-ка-

кие места. Она в странном родстве с людьми, с которыми в жизни не перемолвилась словом, то вдруг с женщиной просто на улице, то вдруг с приказчиком, или вдруг с деревом, или с конюшней. И вылилось это в трансцендентальную теорию, которая, при Клариссином страхе смерти, позволяла ей верить — или она только так говорила, будто верит (при ее-то скептицизме), что раз очевидное, видимое в нас до того зыбко в сравнении с невидимым, которое со стольким со всем еще связано — невидимое это и остается, возможно, в другом человеке каком-нибудь, в месте каком-нибудь, доме каком-нибудь, когда мы умрем. Быть может — быть может.

Если оглянуться хотя бы на их долгую, почти тридцатилетнюю дружбу, ее теория кажется очень правдоподобной. Уж как коротки, отрывочны, часто мучительны их свидания — из-за его долгих отлучек, из-за помех (скажем, сегодня — вошла эта Элизабет, длинноногая — жеребеночек — красивая, бессловесная, — только-только он разговорился с Клариссой), а вот ведь их роль в его жизни безмерна. Просто загадка какая-то. Тебе дается маленькое, острое, колкое зернышко — свидание; частенько саднящее; и потом, далеко, в самых неподходящих местах, это зернышко

вдруг и взойдет, обдаст ароматом и тронет, раскроется зрению, осязанию, вкусу, и чувству, и мысли — пролежав много лет неведомо где. Кларисса настигала его — на палубе, в Гималаях; совершенно необъяснимо, ни с того ни с сего (могла же Салли Сетон — добросердечная, пылкая дурища! — вдруг вспомнить — его! — при взгляде на голубую гортензию). Она больше всех на него повлияла. И вечно она настигала его — хочешь не хочешь — холодная, надменная, придирчивая; а то восхитительная, милая, как пастбище какое-то в Англии или жнивье. Чаще он ее видел не в Лондоне, а в деревенской тиши. Сцена за сценой в Бортоне…

Вот и гостиница. Он пересек холл, где высились красные кресла рядом с диванами и чахли в кадках остролистые пальмы. Барышня за конторкой подала ему ключ. И несколько писем. Он пошел наверх по лестнице — чаще всего она видится ему в Бортоне, поздним летом, он гостил у них по неделе, а бывало, и по две, как в те поры водилось. То она стоит на горе, придерживает руками волосы, развевается ее плащ, и она им кричит, чтоб поглядели на Северн. Или в лесу, она кипятит чай, — пальцы не слушаются, дым выделывает книксены, веет им в лица, и за ним сквозит ма-

ленькое, розовое лицо; а как-то она попросила напиться у какой-то старушки; потом та вышла еще на крыльцо и глядела им вслед. Они всегда ходили пешком; остальные ездили; она терпеть не могла ездить, она не любила животных, кроме того своего пса. Они истоптали с нею долгие мили дорог. Она, бывало, вдруг остановится, чтоб разобраться в округе, и тащит его в противоположную сторону, и все время, все время они спорили; толковали о поэзии, о знакомых, о политике (у нее тогда были радикальные взгляды); и ничего-то не замечали кругом, разве что она вдруг замрет, вскрикнет при виде какого-нибудь дерева или полянки и потребует, чтоб он тоже непременно взглянул; и дальше — опять, опять по колючей стерне, она — впереди, с каким-то цветочком для тетки, и при всей своей хрупкости неутомима; в Бортон являлись уж в сумерки. После ужина старый Брайткопф раскрывал фортепьяно и пел совершенно без голоса, а они, рухнув в кресла, долго давились хохотом, не выдерживали, прыскали ни с того ни с сего. Брайткопф, предполагалось, не слышал. А наутро она уже снова порхала перед домом, как трясогузочка…

Э, да тут от нее письмо! Синий конверт; ее рука. И нельзя его не прочесть. Снова встреча, сулящая

муку! Прочесть ее письмо стоит бездны усилий.

«Как божественно, что она его повидала. Она должна ему это сказать». И все.

А он расстроился. Разозлился. И зачем она ему написала? После всех его рассуждений — словно удар под вздох. Почему она, наконец, не оставит его в покое? Вышла же за своего Дэллоуэя и столько лет прелестно с ним прожила.

В этих гостиницах не очень-то отведешь душу. Наоборот. Кто только не нацеплял свою шляпу на этот крюк. Даже мухи, если подумать, перепробовали тысячу разных носов перед тем, как примоститься на твоем. Ну а сразу бьющая в глаза чистота — и не чистота, собственно, — так, оголенность и холод. Нечто, предписываемое распорядком. Кислая матрона ни свет ни заря тут сопела, гоняла девушек с голубыми носами, заставляла драить, скрести что есть мочи, будто новый постоялец — баранья нога, которую надлежит поднести на безупречно вымытом блюде. Для сна — будьте любезны — кровать: сидеть — пожалуйста — кресло; чистить зубы, брить подбородок — вот вам стаканчик, вот зеркало. Книги, письма, халат раскинулись на безличности дивана с вопиющим нахальством. Это Клариссино письмо раскрыло ему на все глаза. «Божественно,

что тебя повидала. Она ему должна сообщить!» Он сложил листок; сунул куда-то; ни за что он не станет его перечитывать!

Письмо, чтоб оно попало к нему в шесть часов, она написала, едва он вышел из комнаты; запечатала; наклеила марку; кого-то посылала на почту. Очень, как говорится, похоже на нее. Она расстроилась из-за его визита; нахлынули разные чувства; пока целовала у него руку, на минуту обо всем пожалела, даже ему позавидовала, вспомнила, может быть (он по лицу ее видел), какие-то давнишние его слова — как они преобразуют мир, если она согласится за него выйти; и вот — на деле: до таких лет дожили; и — никаких свершений; потом, со своей этой неукротимой энергией, она заставила себя все отмести; ведь подобной твердости, выдержки, силы в преодолении препятствий он больше ни в ком не встречал. Да. Но сразу же, едва за ним захлопнулась дверь, все переменилось. Ей стало его мучительно жаль; она начала гадать, чем бы только доставить ему радость (ей единственно верное всегда невдомек), и он увидел воочию: слезы бегут у нее по щекам, она бросается к бюро и набрасывает единственную строчку, которая должна его встретить при возвращении… «Бо-

жественно, что тебя повидала!» И она ведь это искренне.

Вот Питер Уолш расшнуровал ботинки.

Но ничего бы не вышло хорошего, если б они поженились. Другое в конце концов получилось куда натуральней.

Это странно; но это правда; это бездна народу чувствовала. Питер Уолш, который только-только сносно устроился, исправно служил на ничем не примечательной службе, нравился людям, хотя и слыл чудаком и заносился слегка, — странно, что он сейчас именно, когда волосы поседели, приобрел удовлетворенный вид; будто все ему нипочем. Это и привлекало женщин; им было лестно именно в нем прозревать недостаток мужественности. Некую закавыку. Возможно, весь секрет его в том, что он такая книжная душа — не может, заглянув к вам на минутку, не поддеть книжку на столе (он и сейчас читал, пустив по полу шнурки), или в том, что он джентльмен, это видно по тому, как он выбивает трубку, и, конечно, по его обращению с женщинами. Ей-богу, прелестно и немножко смешно — до чего легко иная девица без капли соображения умеет его обвести вокруг пальца. Но себе же на голову. То есть хоть он и покладист и, благодаря весело-

сти нрава и приличному воспитанию, приятен в обхождении, но — до известных границ. Она что-то скажет, и — нет, нет; он ее видит насквозь. Это невыносимо — нет, нет. А потом он может кричать, и держаться за бока, и хохотать в мужской компании. Он был самый тонкий ценитель хорошей кухни на всю Индию. Он мужчина. Но не из тех, кто вызывает почтение — и слава тебе, Господи; не то что майор Симонс, к примеру; никоим образом, считала Дейзи, которая, несмотря на своих двоих детей, вечно их сравнивала.

Он стянул ботинки. Вывернул карманы. Вслед за перочинным ножиком выпорхнула фотография Дейзи на веранде; Дейзи, вся в белом, с фокстерьером на коленях; прелестная, смуглая — лучший ее снимок. Все в конце концов получилось так натурально; натуральней гораздо, чем было с Клариссой. Без мук, без хлопот. Без вычур и вымученности. Как по маслу. И смуглая, ненаглядно хорошенькая девочка на веранде кричала (так и стоит в ушах). Да, да, она для него готова на все! — она кричала (вот уж не назовешь ее сдержанной), на все, что ему угодно! — она кричала и бежала ему навстречу, не боясь посторонних взглядов. А всего двадцать четыре года. И двое детей. Н-да!

Н-да, в его возрасте угодить в такую историю. Он среди ночи просыпался в холодном поту. Предположим, они поженятся. Ему-то, скажем, будет прекрасно, ну а она? Миссис Берджес — она вполне ничего и не сплетница, он ей доверился — считала, что его отлучка в Англию, якобы ради адвокатов, позволит Дейзи очнуться, понять, что к чему. Речь идет о ее положении; о социальных барьерах; она должна подумать о детях. В один прекрасный день она станет вдовою с прошлым, и будет влачить жалкое существование в захолустье, и, чего доброго, пустится во все тяжкие (вы сами знаете, сказала миссис Берджес, ну этих, наштукатуренных). Но Питер Уолш только отмахнулся. Он покамест не собирается умирать. Впрочем, пусть решает сама, сама пусть соображает, думал он, шлепая в носках по номеру, расправляя белую рубашку, — он же идет к Клариссе, а можно пойти в мюзик-холл, а можно остаться в номере и почитать интересную книжицу, которую написал давнишний знакомый еще по Оксфорду. Уйти бы на пенсию, и тогда он вот чем займется — будет писать книжки. Поехать бы в Оксфорд, порыться в каталогах

Бодлианской библиотеки[21]. И напрасно смуглая, ненаглядно хорошенькая девочка бежала к краю террасы, напрасно махала руками, напрасно кричала, что ей все равно, все равно, пусть осуждают. Она о нем бог знает какого мнения, и вот этот безупречный джентльмен, дивный, прекрасный (возраст для нее не играет абсолютно никакой роли), шлепает в носках по гостиничному номеру в Блумсбери, бреется, умывается, и покуда он берет в руки кружку, складывает бритву, мысль гуляет по каталогам Бодлианской и докапывается до кое-каких мелочей, которые его занимают. И он может с кем угодно по пути заболтаться, и будет ее подводить, и все чаще и чаще будут опоздания к обеду, и сцены, когда Дейзи будет требовать поцелуев, и никогда ему не решиться на окончательный шаг (хоть он ей искренне предан) — словом, вероятно, миссис Берджес права, и не лучше ли ей его позабыть и запомнить таким, каким был он в августе двадцать второго — тенью на меркнущем перекрестке, тающей, покуда уносится вдаль двуколка, и ее уносит, и она надежно стянута ремнями на заднем сиденье, и руки раскинуты, и тень уже тает, уже исчезает,

21 Примечания: 21

Оксфордская университетская библиотека, основана в 1598 г. Томасом Бодли.

а она кричит, кричит, что готова на все, на все, на все…

Никогда он не понимал, что, собственно, на уме у других. Ему все труднее сосредоточиться. Он завертелся, погряз в своих личных делах; то он раскисает, а то ему весело; он зависим от женщин, рассеян, изменчив и чем дальше, тем меньше (думал он, намыливая подбородок) способен постичь, отчего бы Клариссе просто-напросто не подыскать им жилье, не пригреть Дейзи; не ввести ее в общество. А он бы тогда — да-да, что? — он бы мешкал и медлил (в данный момент он перебирал разные ключи и бумажки), возился и тешился, короче говоря, наслаждался одиночеством, и ничего-то ему больше не нужно; но, с другой стороны, он же как никто нуждается в людях (он застегнул жилет); это просто сущее бедствие. Ему необходимо торчать в курительных, болтать там с полковниками, и он любит гольф, любит бридж, и всего больше он любит женское общество, тонкость женской дружбы, женскую верность и храбрость, величие в любви, которая, хоть имеет свои издержки (ненаглядно хорошенькое личико темнело поверх конвертов), есть прелестный цветок, украшающий нашу судьбу, а вот ведь не может он решиться на окон-

чательный шаг, и вечно он склонен к оглядке (Кларисса в нем что-то навсегда покалечила), легко устает от немой преданности, ищет рассеяния, хотя сам с ума бы сошел, если б Дейзи влюбилась в другого, просто с ума бы сошел! Ведь он ревнив, непристойно ревнив по природе. Какая мука! Да, но где ножик; часы; печатка; блокнот и Клариссино письмо, он не станет его перечитывать, но все же приятно; и где фотография Дейзи? Так — а теперь обедать.

За столиками ели.

Сидели вокруг цветочных ваз, кто переодевшись к обеду, кто не переодевшись, пристроив рядом сумки и шали, изображали спокойное равнодушие к непривычному множеству блюд, светились довольством, ибо обед им был по карману, превозмогали усталость, ибо набегались за день по магазинам и памятникам; озирали с любопытством зал и входящего приятного в роговых очках джентльмена; любезно изготовлялись передать меню, поделиться полезными сведениями; кипели желанием нащупать в беседе что-то сближающее, не земляки ли случайно (скажем, родом из Ливерпуля), нет ли однофамильцев-знакомых; украдкой вскидывали глазами; вдруг осекались: вдруг забывались в семейственных

шуточках — за столиками ели, обедали, когда мистер Уолш вошел и занял место около занавеса.

Он ничего, разумеется, особенного не говорил, ибо, сидя один за столиком, адресоваться он мог только к официанту; но то, как смотрел он в меню, как сидел, как отмечал указательным пальцем вино, как внимательно, однако же, не самозабвенно занялся он едой, — вызывало к себе уважение; и в продолжение обеда ничем не выказываясь, оно прорвалось за столиком, где сидели Моррисы, когда мистер Уолш, завершая обед, произнес: «Груши Бере». Отчего произнес он это так скромно и вместе с тем твердо, с видом человека дисциплинированного и сознающего свои неотъемлемые права, — ни младший Чарльз Моррис, ни старший Чарльз, ни мисс Элейн, ни тем более миссис Моррис объяснить не смогли бы. Но по тому, как он выговорил: «Груши Бере», сидя один за столиком, они ощутили, что в этом законном требовании он рассчитывает как-то на их участие, угадали в нем поборника дела, которое тотчас стало их собственным, и тотчас взгляды их встретились, полные очевидной симпатии, и когда, все вместе, они подошли к курительной, уже совершенно естественно показалось чуть-чуть поболтать.

Разговор получился не очень глубокий — в основном про то, какая бездна народу в Лондоне; как он изменился за последние тридцать лет; мистер Моррис предпочитал Ливерпуль; миссис Моррис посетила выставку цветов в Вестминстере; и все они видели принца Уэльского. И тем не менее, думал Питер Уолш, ни одно семейство на свете не идет ни в какое сравнение с Моррисами; ни единое; как они мило друг к другу относятся; и наплевать им на высшие классы, что им нравится, то им и нравится; и молодой человек заработал стипендию в техническом училище в Лидсе, и Элейн готовится вступить в отцовскую фирму, и у старой дамы (она, вероятно, одних с ним лет) дома еще трое детей; и у них две машины, но мистер Моррис все равно чинит обувь по воскресеньям; грандиозно, просто грандиозно, думал Питер Уолш, и, держа в руке рюмку с ликером, он покачивался на пятках посреди красных плюшевых кресел и пепельниц, и он был очень доволен собой, оттого что понравился Моррисам. Да, им понравился господин, сказавший «Груши Бере». Он это чувствовал — он им понравился.

Он пойдет на Клариссин прием. (Моррисы откланивались; но они еще увидятся — непременно.) Он пойдет на Клариссин прием, ведь надо

спросить у Ричарда, что они затевают в Индии — консервативные олухи? И что дают в театрах? В концертах? Ах, и еще сплетни, сплетни.

Да, душа человеческая, думал он, наше «я»; прячется словно рыба в пучине морской, снует там во мгле, огибая гигантские водоросли, промчится по солнечной высветленной полосе — и снова во тьму — пустую, густую, холодную; а то вдруг взметнется вверх, разрезвится на прохваченных ветром волнах; просто необходимость какая-то встрепенуться, встряхнуться, зажечься — поболтать, поболтать. Что правительство намеревается — Ричард Дэллоуэй, уж конечно, осведомлен — предпринять относительно Индии?

К вечеру стало душно, мальчишки-газетчики разносили в плакатах красным и крупным шрифтом возвещаемую жару, и потому перед гостиницей выставили плетеные кресла, и там сидели, курили, потягивали вино. Сел в плетеное кресло и Питер Уолш. День, лондонский день, можно было подумать, едва начинался. Как женщина, сбросив затрапезное платье и беленький фартучек, надевает синее и жемчуга, все плотнее день сменял на дымчатое, наряжался к вечеру; и с блаженным выдохом женщины, скидывающей надоевшую юбку, день скидывал пыль, краски,

жару; редело уличное движение; элегантная звонкость автомобилей замещала тяжелый грохот грузовиков, и там и сям в пышной листве блестели уже густые, жирные пятна. Я ухожу, будто говорила вечерняя заря, и она выцветала и блекла над зубцами и выступами, над округлыми, островерхими контурами домов, гостиницы, магазинов, я блекну, говорила она, мне пора, — но Лондон и слушать ничего не хотел, на штыках возносил ее к небу и силком удерживал на своей пирушке.

Ибо после прошлого наезда Питера Уолша в Англию свершилась великая революция — введение летнего времени. Длинный вечер был ему внове. Волнующее переживание. Когда мимо идут юнцы с портфелями, наслаждаясь свободой и втайне ликуя оттого, что ступают по прославленному тротуару — дешевый несколько и показной, если хотите, но все же восторг пылает на лицах. И одеты все хорошо: телесного цвета чулки; прелестные туфли. Впереди — блаженных два часа в кинематографе. Лица тоньше, умнее в этом изжелта-синем свете; на листве же деревьев мертвенный, лиловатый налет, она мерцает, будто сквозь водную толщу — листва затонувшего града. Красота поражала Питера Уолша и

бодрила: пусть их, воротившиеся из Индии англичане (он знает их множество) торчат, как им и положено, в своем Восточном клубе и брюзжат о конце света, а Питер Уолш — вот он; молодой, как никогда; завидует юнцам из-за летнего времени да мало ли из-за чего еще, и девичий голос, хохот служанки — все вещи неуловимые, зыбкие — наводят на мысль, что вся пирамида, в юности представлявшаяся незыблемой, вдруг поддалась. Как давила она, как прижимала, женщин в особенности, словно те бедные цветы, которые Клариссина тетя Елена, бывало, распластывала между листами серой бумаги и сверху придавливала толстым лексиконом Литтре, устроившись после ужина под абажуром. Она уже умерла. Кларисса как-то писала: ослепла на один глаз. Было бы блистательным приемом, мастерским штрихом природы, если б тетя Елена остекленела вся. Ей бы умереть, как коченеет пташка, всеми коготками вцепившись в ветку. Она человек другого поколения, но до того цельная, законченная, что навеки останется на горизонте, белокаменно высокая, как маяк, отмечающий пройденный этап увлекательной и долгой-долгой дороги, этой нескончаемой… (он нащупал в кармане медяк — купить газеты и выяснить, чем там закончилось у

Суррея с Йоркширом; он так тысячу раз вынимал медяк. Опять Суррей проиграл)… нескончаемой жизни. Но крикет не просто игра. Крикет больше. Это выше его сил — не прочесть про крикет. Итак — сперва о матче; потом он прочел о жаре; потом шел рассказ об убийстве. Когда какой-то жест повторяешь тысячу раз, он все больше говорит душе, обогащает, хотя, разумеется, в то же время делается машинальным, тускнеет. Прошлое обогащает и опыт, и когда двух-трех ты в жизни любил, обретаешь способность, которой нет у юнцов, — вовремя ставить точку, и плевать на разные пересуды, и не слишком-то обольщаться (он положил газету на столик и встал), хотя (не забыть бы плащ и шляпу), если быть честным, вот же сегодня он отправляется на прием и — в таком возрасте — весь полон неясных надежд. Что-то его ожидает. Но что?

Во всяком случае — красота. Не грубая красота — для глаз. Это не просто ведь красота, когда Бедфорд-Плейс впадает в Рассел-Сквер. Да, разумеется — стройность, простор; четкость коридора. Но — вдобавок — светились окна, и оттуда неслись фортепьянные ноты и взвой граммофона; и там пряталась радость, и то и дело она обнаруживалась, когда в незавешенном окне,

в отворенном окне взгляд различал застолье, кружение пар, увлеченных беседой мужчин и женщин, а служанки рассеянно поглядывали с подоконников (своеобразный их знак, что все дела переделаны), и сушились на планках чулки, и кое-где были кактусы и попугаи. Загадочная, восхитительная бесценная жизнь. А на площади, куда скользили стремительно, чтоб тотчас исчезнуть за поворотом, такси, толклись влюбленные и в обнимку прятались под лиственный ливень; и так это было трогательно, так они были сосредоточенно тихи, что хотелось скорей прошмыгнуть мимо, чтоб своим нечестивым присутствием не разрушить священного действа. И это тоже было славно. Но — дальше, дальше, под яркость и жаркость огней.

Плащ на нем развевался, и он шел своей неописуемой, странно летящей походкой, слегка подавшись вперед, заложив руки за спину, глядя все еще по-ястребиному, он шел по Лондону, шел к Вестминстеру, глядя по сторонам.

Все, что ли, сегодня собрались в гости? Швейцар распахивал двери перед старой, величавой матроной в туфлях на пряжках и с тремя страусовыми перьями в волосах. Двери распахивались и перед дамами, как мумии спеленутыми в цвета-

стые шали, простоволосыми дамами. А в богатых кварталах, мимо колонн, к воротам, в легких накидках, с гребнями в прическах (поцеловав на ночь детишек) шли женщины; мужья их дожидались возле автомобилей; трещали моторы; развевались плащи. Все отправлялись куда-то. И оттого что все время, все время распахивались двери и оттуда выходили, казалось, будто Лондон скопом спускается с лодочки, мотающейся на волнах; будто город весь стронулся и сейчас поплывет в карнавале. А Уайтхолл был похож на каток, на серебристый каток, по которому носятся пауки, и чувствовалось, как плотно висит вокруг дуговых ламп мошкара. И многие из-за жары останавливались поболтать. А в Вестминстере судья в отставке, надо думать, — весь добросовестно в белом, сидел у своих дверей. В Индии отслужил, надо думать.

А вот и скандал какой-то, подгулявшие женщины, пьяные женщины; здесь всего один полицейский, и расплываются в небе дома, здесь большие дома, купола, соборы, парламенты, и дальний, полый, отуманенный крик парохода с реки. Но это ведь ее уже улица, Клариссина улица; машины обтекали угол, как вода обтекает сваи моста, — сплошной лентой, потому, наверное,

что спешили на прием, на Клариссин прием.

Холодный поток зрительных впечатлений уже отплескивался от глаз, как жидкость стекает со стенок переполненного кувшина. Пора и уму включиться. Телу пора изготовиться, сжаться, пора войти в этот дом, ярко озаренный дом, в эту дверь, к которой подкатывают автомобили, выпуская сверкающих женщин. Собраться с духом и — крепись, сердце.

Он приоткрыл большое лезвие перочинного ножа.

Люси опрометью сбежала по лестнице. Она только заскочила в гостиную — поправила ковер, подвинула стул, постояла минутку и прочувствовала, как на любой взгляд все тут чисто, ярко, красиво, хорошо устроено, и какое прекрасное серебро, и медные каминные приборы, и новая обивка стульев, и расписной желтый занавес; все, все она одобрила и услышала гул голосов; уже отобедали; надо лететь, лететь!

Агнес сказала: премьер-министр тоже будет; при ней говорили в столовой, когда она вносила на подносе бокалы. Какая разница, какая разница — одним премьер-министром больше или меньше? Это было совершенно безразлично сейчас для миссис Уокер, хлопотавшей среди блюд,

кастрюль, дуршлагов, сковородок, заливных цыплят, мороженицы, срезанных хлебных корок, лимонов, супниц, форм для пудинга, которые, как судомойки ни лезли из кожи, все сваливались на нее, загромождали стол, стулья, а огонь ревел, пылал, глаза резало электричество, и к ужину еще не накрыли. Так что, само собой, миссис Уокер было просто безразлично, одним премьер-министром больше или меньше.

Леди уже пошли наверх, Люси сказала: леди пошли одна за другой по лестнице, миссис Дэллоуэй шла последняя и всегда почти что-нибудь передавала на кухню. Один раз передала «Большой привет миссис Уокер». Наутро они обсудят все блюда — суп, семгу; семга, миссис Уокер знала, как всегда, не очень-то удалась; она вечно нервничает из-за десерта, а семгу оставляет на Дженни; вот семга вечно и не удается. Но одна дама со светлыми волосами и вся в серебре сказала — Люси передала, — когда внесли семгу: «Неужели сами готовили?» Все-таки семга огорчала миссис Уокер, пока она двигала блюда, убавляла и прибавляла огонь; в столовой захохотали; вот голос — один; опять хохот — это господа веселятся, когда дамы ушли. А тут вбежала Люси; токайское! Мистер Дэллоуэй посылал за токай-

ским, за лучшим, королевским токайским.

Его несли по кухне. Люси через плечо сообщала, какая хорошенькая мисс Элизабет; просто душечка; глаз не оторвешь; в розовом платье и в бусах, которые ей мистер Дэллоуэй подарил. Дженни пусть не забудет песика, фоксика мисс Элизабет, он кусачий и его заперли, и мисс Элизабет говорит, а вдруг он попросится. Пусть Дженни не забудет песика. Но Дженни и не собиралась сейчас бежать наверх, когда тут столько народу. У двери еще машина! Звонят! А в столовой господа токайское пьют!

Вот, пошли по лестнице; это первые, а дальше пойдут и пойдут, так что миссис Паркинсон (которую нанимали для приемов) оставит двери открытыми и в холле будут толпиться господа, ожидая (они стояли, ожидая, приглаживая волосы), пока дамы разденутся в комнате рядом; им помогала миссис Барнет, старая Эллен Барнет, она прослужила в семье сорок лет и теперь каждое лето приезжала прислуживать дамам, и она помнила матерей еще барышнями, и очень скромно, правда, но здоровалась с ними за руку; очень почтительно произносила «миледи», но весело поглядывала на барышень и весело, хоть и очень тактично, помогала разоблачаться леди

Лавджой, у которой оказались какие-то неполадки с нижней юбкой. И они отчетливо сознавали, леди Лавджой и мисс Элис, что им жалуют некие привилегии по части щетки и гребешка из-за того, что они знакомы с миссис Барнет — «тридцать лет, миледи», уточнила миссис Барнет. Молодые девушки раньше не красились, говорила леди Лавджой, когда они, бывало, гостили в Бортоне. А мисс Элис краситься и не надо, говорила миссис Барнет, любовно ее оглядывая. И миссис Барнет поглаживала меха, расправляла испанские шали, прибирала на туалетном столике, и она отлично разбиралась, несмотря на меха и узоры, кто настоящая леди, кто нет.

— Милая старушка, — сказала леди Лавджой, поднимаясь по лестнице, — еще Клариссина няня.

Но вот леди Лавджой вся подобралась.

— Леди Лавджой и мисс Лавджой, — сказала она мистеру Уилкинсу (которого нанимали для приемов). У него прекрасно это получалось, когда он склонялся и распрямлялся, склонялся, распрямлялся и возвещал с безупречным бесстрастием: «Леди и мисс Лавджой… сэр Джон и леди Нидэм… мисс Уэлд… мистер Уолш». У него прекрасно это получалось; представлялось, что у

него безукоризненная семья, хотя и трудновато вообразить, чтобы эдакого бритого, зеленогубого господина угораздило обзавестись неудобством в виде детей.

— Как я рада! — сказала Кларисса. Она это каждому говорила. «Как я рада!» Она неудачна сегодня — неискренняя, на ходулях. И зачем было тащиться сюда! Лучше было остаться в гостинице, почитать, подумал Питер Уолш; или пойти в мюзик-холл; надо было остаться в гостинице, он тут не знал ни души.

Господи, ничего не получится; полный провал — Кларисса так и чувствовала это хребтом, пока милый старый лорд Лексэм стоял перед нею и извинялся за жену, которая простудилась на приеме в саду в Букингемском дворце. Краем глаза она видела Питера, он стоял в углу и ее критиковал. В конце концов зачем ей все это? Зачем штурмовать высоты и взгромождаться на костер? Да хоть бы пропадом пропасть! Сгореть! Дотла! Что угодно лучше, лучше, взмахнуть факелом, швырнуть его оземь, чем сойти на нет и стушеваться, как Элли Хендерсон какая-нибудь! Поразительно, что Питеру достаточно было прийти и стать в углу, чтобы привести ее в подобное состояние. Она сразу увидела себя со стороны; она

переигрывает; полное идиотство. Ну а он-то зачем, спрашивается, пожаловал? Критиковать ее? Вечно брать, ничего не давать — почему? Почему бы хоть чем-то не поступиться? Ну вот, он вышел из угла, и надо с ним будет поговорить. Только разве улучить минутку! Вот она жизнь, — унижения, разочарования. Лорд Лексэм вот что сказал — его жена не захотела надеть меховую накидку, потому что «дорогая моя, вы все одним миром мазаны», — а ведь леди Лексэм под восемьдесят! В общем, просто умилительно — такие нежности у старичков! И она была всегда очень привязана к старому лорду Лексэму. И она считала, что ее прием — важная вещь, и ей просто нестерпимо было думать, что все идет не так и ничего не получится. Да что угодно, любой ужас бы лучше, только б они не толклись бессмысленно и не подпирали бы стен, как эта Элли Хендерсон, которая даже не дает себе труда хотя бы прямо держаться.

Желтый занавес со всеми птицами рая вздулся, и будто взмахи крыл затопили комнату, вот их вынесло, снова всосало. (Окна были открыты.) Сквозняк, что ли? — подумала Элли Хендерсон. Она была подвержена простуде. Но какая важность, если она и встанет завтра с постели, хлюпая носом. Она подумала о девочках с голы-

ми плечами, потому что ее приучили думать о других, отец приучил, немощный старик, приходский священник в Бортоне, теперь-то он умер; да и простуда у нее никогда не переходила на грудь. Она думала о девочках с открытыми плечами, а сама она всегда была хилая, лицо худое, жидкие волосы; правда, теперь, после пятидесяти, в лице начало пробиваться мягкое сияние, награда за долгие годы самоотверженности, но разгореться как следует оно не могло из-за жалких ее потуг соблюсти достоинство и оттого, что со своими тремястами фунтами дохода Элли пребывала в вечном страхе (заработать она не могла ни гроша), и она стала робкой и с каждым годом все меньше умела вращаться среди хорошо одетых людей, которым это все нипочем, только сказать горничной: «Я то-то и то-то надену», а Элли Хендерсон избегалась, изнервничалась, купила в конце концов дешевых красных цветов, шесть штук, и под шалью скрыла старое черное платье. Потому что приглашение на Клариссин прием пришло в последнюю минуту. У нее было такое чувство, что Кларисса в этом году не хотела ее приглашать.

Да и зачем ей ее приглашать? В сущности, никаких оснований, только общие воспоминания

детства. Положим, они кузины. Но жизнь, конечно, их развела. У Клариссы столько знакомых. А для нее событие — пойти на прием. Так приятно посмотреть на красивые платья. Неужели это Элизабет, совсем взрослая, с модной прической, в розовом платье? Ей же еще восемнадцати нет. Очень, очень хороша. Но теперь, кажется, уже не принято, как когда-то, в первый раз выезжать в белом платье? (Надо все-все запомнить, чтоб рассказать Эдит.) На девушках платья были прямые, в обтяжку, юбки намного выше щиколоток. Мало кому идет, решила она.

Элли Хендерсон плохо видела, и она вытягивала шею, и она-то, в общем, даже не огорчалась из-за того, что не с кем слова сказать (она почти никого не знала), ведь и смотреть было интересно: такие люди; верно, политики; друзья Ричарда Дэллоуэя, — но Ричард сам решил, что нельзя оставлять бедняжку весь вечер одну.

— Ну как, Элли, как она — жизнь? — спросил он своим добродушным тоном, и Элли Хендерсон встрепенулась, покраснела и, очень, очень тронутая его вниманием, сказала, что на многих жара действует гораздо сильнее, чем холод.

— Да, действительно, — сказал Ричард Дэллоуэй. — Да.

Что еще тут можно было сказать?

— Здравствуй, Ричард, — сказал кто-то, беря его под руку, и — господи! — это оказался старина Питер, старина Питер Уолш. Он был страшно рад его видеть, просто ужасно рад его видеть! Он ничуть не изменился. И они ушли вместе, они пересекали гостиную, похлопывая друг друга по спине, будто давно не виделись, думала Элли Хендерсон, глядя им вслед, и, конечно, она уже где-то встречала этого человека. Высокий, немолодой, глаза красивые, волосы темные, в очках, напоминает Джона Бароуза. Эдит его знает, конечно.

Снова вздулся со взмахами райских крыл занавес. И Кларисса увидела — она увидела, как Ральф Лайен отбивает его рукой, не прерывая разговора. Значит, не провал, никакой не провал! Все получится — прием получится. Началось. Пошло. Но пока надо быть начеку. Стоять тут. Гости, кажется, валят валом.

— Полковник Гэррод с супругой… Мистер Хью Уитбред… Мистер Баули… Миссис Хилбери… Леди Мэри Мэдокс… Мистер Куин… — выводил Уилкинс. Она с каждым обменивалась двумя-тремя словами, и они шли дальше, они шли в комнаты, входили — во что-то, не в пустоту теперь уже, после того как Ральф Лайен отбил этот занавес

рукой.

Но от нее самой потребовалось слишком много усилий. И никакой радости не осталось. Будто она — просто некто, неизвестно кто; и любой мог бы оказаться на ее месте; правда, этим «некто» она чуточку восхищалась, как-никак кое-что сделано, пущено в ход; и пост на верху лестницы, к которому, она чувствовала, вся она свелась, был итогом и рубежом, потому что — странно — она совершенно забыла, как она выглядит, и чувствовала себя просто вехой, водруженной на верху лестницы. Всякий раз, когда устраивала прием, она вот так ощущала себя не собою, и все были тоже в каком-то смысле ненастоящие; зато в каком-то — даже более настоящие, чем всегда. Отчасти это, наверное, из-за одежды, отчасти из-за того, что они оторвались от повседневности, отчасти играет роль общий фон; и можно говорить вещи, какие не скажешь в других обстоятельствах, вещи, которые трудно выговорить: можно затронуть глубины. Можно — только не ей; пока, во всяком случае, не ей.

— Как я рада! — сказала она. Милый, старый сэр Гарри! Он тут был со всеми знаком.

И самое странное — это чувство, какое они вызывали, вот так, друг за дружкой, чередой

поднимаясь по лестнице, миссис Маунт и Селия, Герберт Эйнсти, миссис Дейкерс — о! и леди Брутн!

— Страшно мило с вашей стороны, что вы пришли! — сказала она, и сказала искренне — странно было, стоя здесь, чувствовать, как они идут, идут, некоторые совсем старые, некоторые…

Кто? Леди Россетер? Господи — да кто это еще, леди Россетер?

— Кларисса! — Этот голос! Салли Сетон! Салли Сетон! После стольких лет! В каком-то тумане, в тумане. Да, не то она была, Салли Сетон, когда Кларисса прижимала грелку к груди. Подумать только — она под этой крышей, под этой крышей. Да, тогда она была не то!

Торопясь, захлебываясь в хохоте, теснясь, побежали слова — оказалась в Лондоне, узнала от Клары Хейдн; дай-ка, думаю, на нее взгляну! Вот и ввалилась — незваным гостем…

Можно спокойно положить грелку. Сверкание Салли погасло. Но как изумительно снова видеть ее, постаревшую, подурневшую, счастливую. Они расцеловались — в щечку, в другую — прямо в дверях гостиной, и Кларисса обернулась, держа Салли за руку, она увидела свой дом, полный

гостей, услышала гул голосов, увидела свечи, бьющийся занавес и розы, которые днем ей принес Ричард.

— У меня сыновья громадные — пятеро дылд, — сказала Салли.

Эгоизм у нее был всегда простодушнейший, откровенное желание, чтобы все с ней носились, и Кларисса узнала с нежностью прежнюю Салли.

— Не может быть! — вскрикнула она и вся вспыхнула от удовольствия при мысли о прошлом.

Но увы — Уилкинс; Уилкинс требовал ее внимания; Уилкинс — повелительно, начальственно, будто наставляя всех гостей и за легкомыслие выговаривая хозяйке — уронил одно-единственное имя.

— Премьер-министр, — сказал Питер Уолш.

Премьер-министр? Неужели? — восхищалась Элли Хендерсон. Эдит просто ахнет!

Ничего смешного в нем не было. Заурядне йшая внешность. Мог бы стоять за прилавком, печеньем торговать — бедняга, весь в золотом шитье. Но надо отдать ему должное, этот круг почета, сперва с Клариссой, потом в сопровождении Ричарда, превосходно ему удался. Он старался казаться личностью. Забавное зрелище. Никто

на него не смотрел. Все продолжали беседовать, но совершенно же ясно, прочувствовали до мозга костей, что мимо них шествует величие; символ того, что все они воплощают, английского общества. Старая леди Брутн, тоже великолепная, несгибаемая в своих кружевах, поплыла к нему, и они удалились в некую комнатку, на которую тотчас обратились все взоры, и шорох, шелест прошел, наконец, по рядам: премьер-министр!

Господи, вот снобизм англичан, думал Питер Уолш, стоя в углу. До чего они любят украшаться золотым шитьем, воздавать почести! Ба! Да это же… Господи, ну да, это он — Хью Уитбред, принюхивающийся к следам божества, разжиревший, седой — дивный Хью!

Он всегда будто при исполнении служебных обязанностей, думал Питер Уолш; высокопоставленный и таинственный, он грудью готов защищать вверенные ему тайны, даром что это сплетни, оброненные дворцовым лакеем, и завтра они появятся в газетных столбцах. И с этим шутейством, с этими игрушечками-погремушечками дожить до седых волос, стоять на пороге старости, снискать расположение и признательность всех, кто сподобится увидеть вблизи этот тип англичанина — выпускника привилегиро-

ванной школы! В этом он весь; это стиль его; стиль дивных писем в «Таймс», которые Питер читал за морем, за тысячи миль, благословляя провиденье, что унесло подальше от невозможного бреда, даром что кругом щелкают обезьяны и кули лупят своих жен. Вот смуглый юноша из какого-то университета смиренно стал рядом. Он будет его посвящать, вводить в круги, учить жить. Ему ведь только б оказывать любезности и чтоб сердца старых дам трепетали от радости, что их не забыли в их возрасте, в их тяжком положении, они-то считали, что все их забросили, но является Хью, милый Хью; и целый час тратит, болтая о прошлом, вспоминая разные разности, расхваливая домашний торт, а ведь может ежедневно питаться тортом у какой-нибудь герцогини и, судя по комплекции, даже весьма налегает на сие приятнейшее занятие. Всемогущий и Многомилостивый пусть и прощает. У Питера Уолша милости нет. Есть, наверное, мерзавцы, но — Господи! — даже негодяи, которых вздергивают за то, что размозжили голову девушке в поезде, — и те приносят в общем и целом меньше вреда, чем Хью со своей добротой. Полюбуйтесь-ка на него! На цыпочках, выделывая сложные па, кланяясь, пробирается к леди Брутн, снова выплывшей

рядом с премьером, и всячески дает присутствующим понять, что у него с ней какие-то свои разговоры. Вот она остановилась. Склонила благородную белую голову. Наверное, благодарит за очередное подхалимство. У нее ведь всюду свои люди, мелкие чиновники в правительственных учреждениях, блюдут ее интересы, а она за это кормит их ленчами. Ну, она из восемнадцатого века, с нее и взятки гладки. Она прекрасна.

И вот Кларисса повела своего премьер-министра по гостиной, гарцуя, блистая, сверкая торжественной сединой. В серьгах и серебристо-зеленом русалочьем платье. Будто, косы разметав, качается на волнах; еще сохранила этот свой дар; быть; существовать. Все сосредоточить в той самой минуте, когда она идет по гостиной; вот оглянулась, поймала свой шарф, зацепившийся за платье гостьи; отцепила, засмеялась — и все это с совершенной непринужденностью плавающего в родной стихии создания. Но возраст коснулся ее: так, вероятно, однажды ясным вечерком провожает глазами русалка в своем зеркале укатывающее за волны солнце. Какая-то в ней проступила нежность; неподступность и скованность прохватило теплом, и было в ней, когда она прощалась с толстяком в золотом ши-

тье, из кожи вон лезущим (и дай ему Бог!), чтобы казаться значительным, когда она желала ему всего доброго, — было в ней невыразимое достоинство, восхитительная сердечность; будто она всему на свете желает всего доброго, и, стоя на пороге, стоя на краю — прощается со всем. Так ему показалось. (Но не от влюбленности ни от какой.)

Да, Кларисса чувствовала — премьер-министр очень мило поступил, что пришел. И когда она его вела по комнате, и тут же стояла Салли, и был Питер, и такой довольный Ричард, а все эти люди, возможно, чуть-чуть ей завидовали, в голову ей будто ударил хмель; и все нервы напряглись, и сердце дрожало, ширилось — да, но такое и другие, конечно, испытывают; и хоть такие минуты жалят и звенят — все же в ее торжестве (добрый друг Питер, например, нашел ее восхитительной) какая-то червоточина; все это рядом — не в сердце; наверное, она уже не та, она стареет; прежней радости нет; и, когда она провожала глазами премьер-министра, спускавшегося по ступеням, золоченая рама «Девочки с муфтой» сэра Джошуа[22] вдруг напомнила Килманшу; Килманшу

---

22 Примечания: 22

Джошуа Рейнолдс (1723–1792) — английский художник.

— врага. Вот и хорошо; хоть настоящее что-то. Ах, как она ненавидит ее — ханжу, злыдню, лицемерку; и какая власть у нее; она совращает Элизабет; втерлась в дом — осквернять и поганить (Ричард скажет — что за бред!). Она ее ненавидит. Она ее любит. Человеку нужны враги, не друзья, не миссис Дарэнт и Клара, сэр Уильям и леди Брэдшоу, мисс Трулэк и Элинор Гибсон (они поднимались по лестнице). Они найдут ее когда захотят. Она к их услугам!

Вот сэр Гарри — старый добрый друг.

— Милый сэр Гарри! — сказал она, подходя к великолепному старцу, произведшему на свет больше скверных полотен, чем удавалось любым двум членам Академии художеств вместе взятым (на всех до единого были коровы, они стояли в закатных прудах, утоляя жажду, либо с помощью поднятого копыта или взмаха рогов очень ловко изображали «Приближение чужака», и жизнедеятельность его — обеды в гостях, ипподром и прочее — зиждилась на коровах, утолявших жажду в закатных прудах).

— Над чем это вы смеетесь? — спросила она. Потому что Уилли Титком, и сэр Гарри, и Герберт Эйнсти — все хохотали. Но нет. Не мог сэр Гарри рассказать Клариссе Дэллоуэй (хоть она

ему очень нравилась; он считал ее в своем роде совершенной и грозился увековечить) — не мог он ей рассказать свой анекдот из быта актеров; взамен он принялся над нею подтрунивать; на ее приеме ему недостает коньяка. Этот круг, он сказал, чересчур для него возвышен. Но ему нравилась Кларисса; он ее почитал, несмотря на треклятую, несносную, жуткую эту изысканность, из-за которой немыслимо было попросить Клариссу Дэллоуэй посидеть у него на коленях. Однако вот и хлипкий, блуждающий огонек (в чем душа держится?), старушонка миссис Хилбери простирает руки к согревающей вспышке хохота (по поводу герцога с дамой), донесшегося к ней в дальний угол и, кажется, успокоившего ее касательно одной материи, которая тревожит иной раз, когда проснешься ни свет ни заря и не хочется будить горничную из-за чашечки чая: что мы все непременно умрем.

— Нам они ничего не хотят рассказывать, — сказала Кларисса.

— Кларисса, душенька! — воскликнула миссис Хилбери. Сегодня Кларисса, сказала она, безумно ей напомнила свою покойницу мать, какой она впервые ее увидела — в серой шляпке, на садовой дорожке.

И в глазах у Клариссы даже заблестели слезы. Мама — на садовой дорожке! Но увы, она вынуждена была их покинуть.

Потому что профессор Брайели, специалист по Мильтону, стоял с маленьким Джимом Хаттоном (который, даже ради такого приема, не сумел повязать галстук по-божески и совладать со своим хохолком), и даже на расстоянии она видела, что они ссорятся. Этот профессор Брайели был странная птица. При всех своих степенях, отличиях, курсах он привык мгновенно чуять в писаках то, что было враждебно удивительно сложному его составу; непомерной учености и робости; холодному, без доброты, обаянию; чистоте, замешанной на снобизме; он весь трясся, когда нечесаные волосы студентки, нечищенные башмаки юнца напоминали ему о мире — весьма завидном, бесспорно — деклассированных, мятежных, буйных, уверенных в собственной гениальности, — и легким подергиванием головы, хмыканием — хм! — он намекал на пользу умеренности; кое-каких познаний в области классики для понимания Мильтона. Профессор Брайели (Кларисса видела) не поладил с маленьким Джимом Хаттоном (тот был в красных носках, ибо черные отдал в стирку) относительно

Мильтона. Она решила вмешаться.

Она сказала, что любит Баха. Хаттон его тоже любил. Это их связывало, и Хаттон (очень плохой поэт) всегда считал, что миссис Дэллоуэй куда лучше прочих великосветских дам, интересующихся искусством. Странно, какие строгие у нее суждения. Насчет музыки весьма неоригинальные. В общем, даже скучно. Но до чего она хороша собой! И дом у нее чудный, если б только не приглашала разных профессоров. Клариссу подмывало заткнуть его в заднюю комнату и усадить за рояль. Играл он божественно.

— Только вот шум! — сказала она. — Шум!

— Признак удачного приема. — Отвесив учтивый поклон, профессор изящно ретировался.

— Он все на свете знает про Мильтона, — сказала Кларисса.

— В самом деле? — сказал Хаттон, который уже готовился изображать профессора по всему Хэмпстеду: профессор рассуждает о Мильтоне; профессор проповедует пользу умеренности; профессор изящно ретируется.

Но ей надо поговорить с теми двоими, сказала Кларисса, с лордом Гейтоном и Нэнси Блоу.

Нельзя сказать, чтобы именно они заметным образом усугубляли шум приема. Они не разго-

варивали (заметным образом), стоя рядышком возле желтого занавеса. Они собирались скоро куда-то еще, вместе; они вообще были не из разговорчивых. Они дивно выглядели. Вот и все. И достаточно. Они выглядели такими здоровыми, чистыми, она — в персиковом цветении краски и пудры, он весь промытый, сверкающий, и взгляд соколиный — мяча не пропустит, любой удар отразит. Он бил по мячу, он прыгал — точно и четко. На дрожащих поводьях держала ретивых пони его рука. Он воспитывался среди фамильных портретов, почестей, висящих в домовой церкви знамен. Он воспитывался в сознании долга — у него были арендаторы; мать и сестры; весь день он провел в палате лордов, и они как раз говорили — о крикете, кузенах, кинематографе, когда подошла миссис Дэллоуэй. Мисс Блоу она страшно нравилась. И лорду Гейтону тоже. Прелестная женщина.

— Страшно мило, просто божественно, что вы пришли! — сказала она. Она любила лордов; любила юных; а Нэнси, одевавшаяся за громадные деньги у известнейших мастеров Парижа, выглядела сейчас так, будто ее тело само по себе опушилось зеленой оборкой.

— Я думала, можно будет потанцевать, — ска-

зала Кларисса.

Такие молодые люди не умеют беседовать. Да и к чему? Им — бродить, обниматься, аукаться, вскакивать с постели чем свет; кормить сахаром пони; ласкать и чмокать любимые морды чау-чау и, горя, трепеща, плюхаться в воду, плавать… А немыслимые богатства родного языка, власть, которой он нас дарит, — передавать тончайшие оттенки чувства (уж они с Питером в их-то годы весь вечер бы спорили) — им ни к чему. Такие остепеняются рано. Безмерно добры, вероятно, со всеми в поместье, но сами по себе, пожалуй, немного скучны.

— Вот жалость! — сказала она. — Я-то надеялась, что можно будет потанцевать.

Страшно мило с их стороны, что они пришли. Но какие танцы! Когда яблоку негде упасть.

Но появилась тетя Елена в шали. Увы, она должна была их покинуть — лорда Гейтона с Нэнси Блоу. Пришла мисс Парри, ее тетушка.

Ибо мисс Елена Парри не умерла. Мисс Парри была жива. Ей давно стукнуло восемьдесят. Она взошла по лестнице, опираясь на палку. Ее усадили в кресло (об этом позаботился Ричард). Тех, кто знал Бирму в семидесятые годы, всегда подводили к ней. Но куда Питер подевался? Они же были

с тетей такие друзья. А при одном упоминании об Индии или даже Цейлоне ее глаза (только один был стеклянный) темнели, синели, и видела она не людей — не имея нежных воспоминаний, ни гордых иллюзий по поводу вице-королей, мятежей, генералов — она видела орхидеи, и горные тропы, и себя самое, когда на спинах у кули поднималась в шестидесятые годы к пустынным вершинам или спускалась выкапывать орхидеи (поразительные экземпляры, прежде не виданные), она их писала потом акварелью; неукротимая британка, она раздражалась, когда, скажем, бомба, упавшая под самым ее окном, помешала ей вспоминать об орхидеях и о том, как сама она в шестидесятые годы путешествовала по Индии — но вот и Питер.

— Пойди поговори с тетей Еленой про Бирму, — сказала Кларисса.

Но они же за весь вечер друг другу двух слов не сказали!

— Мы еще поговорим, — сказала Кларисса, подводя его к тете Елене — в белой шали, с палкой.

— Вот Питер Уолш, — сказала Кларисса.

Имя не говорило ей ничего.

Кларисса ее пригласила. Здесь шумно; утомительно; но Кларисса ее пригласила. И она

пришла. Жаль, что они живут в Лондоне — Ричард с Клариссой. По Клариссиному здоровью — ей бы в деревне жить. Но Кларисса всегда любила общество.

— Он бывал в Бирме, — сказала Кларисса.

А-а! Она не в силах удержаться, не похвастаться тем, как Чарльз Дарвин отозвался о ее книжице об орхидеях Бирмы.

(Клариссе пришлось отойти от леди Брутн.)

Теперь ее, конечно, забыли, книжицу эту об орхидеях Бирмы, но до 1870 года три издания вышло, сказала она Питеру. Теперь она его вспомнила. Он был у них в Бортоне (и бросил ее, вспомнил Питер Уолш, ни слова не сказав, в гостиной тем вечером, когда Кларисса позвала кататься на лодке).

— Ричарду было так приятно у вас сегодня, — говорила Кларисса леди Брутн.

— Ричард мне чрезвычайно помог, — отвечала леди Брутн. — Он мне помог составить письмо. А вы — как вы себя чувствуете?

— О, превосходно! — сказала Кларисса. (Леди Брутн не выносила, когда жены политических деятелей хворали.)

— А вот и Питер Уолш! — сказала леди Брутн (она никогда не знала, о чем говорить с Кла-

риссой; хотя та нравилась ей множеством своих прекрасных качеств; но ничего общего не было у нее и Клариссы. Возможно, Ричарду следовало бы жениться на женщине менее обаятельной, которая бы ему больше помогала в его труде. Он так и не попал в Кабинет). — А вот и Питер Уолш! — сказала она, протягивая руку милому греховоднику, очень способному молодому человеку, который мог бы составить себе имя, но не составил (из-за вечных историй с женщинами). И старая мисс Парри! Поразительная старая дама!

Леди Брутн призрачным гренадером в черных одеждах стала у кресла мисс Парри и приглашала Питера Уолша завтракать; сердечная, но не способная к легкой беседе, она ничего не могла припомнить касательно флоры и фауны Индии. Разумеется, она там бывала; гостила у троих вице-королей; считала кое-кого из тамошних должностных лиц людьми чрезвычайно достойными; но какая трагедия — положение Индии! Премьер-министр ей сейчас как раз говорил (старой мисс Парри, кутавшейся в шаль, было решительно все равно, что как раз говорил ей премьер-министр), и леди Брутн хотелось услышать мнение Питера Уолша, ведь он только что из самой гущи событий, и ей хотелось его све-

сти с сэром Сэмпсоном, потому что она просто лишилась сна из-за этих безумных и — как дочь солдата, она бы сказала — непозволительных действий. Сама она постарела, стала ни на что не годна. Но ее дом, слуги, добрый друг — Милли Браш — он ее не забыл? — все просто рвались помочь, когда… словом… когда понадобится. Потому что она всуе не говорила об Англии, но эта драгоценная земля, страна великих душ была у нее в крови (хоть Шекспира она не читала), и если когда-нибудь женщина была рождена носить шлем, целиться из лука, водить в атаку полки, с неукротимой справедливостью править темными ордами и после, безносой, возлечь под щитом во храме либо обратиться в зеленый, заросший курган среди древних холмов, — эта женщина была Милисент Брутн. Лишенная — из-за женского своего естества и отчасти известной ленцы — способности рассуждать логически (она не могла, например, составить письмо в «Таймс»), она постоянно думала об империи и в результате общения с этим воинственным духом обрела строевую осанку и мощь, так что даже представить себе было немыслимо, чтобы после смерти она рассталась с землей и перенеслась в те пределы, где уже не реет британский флаг. Не

быть англичанкой — хотя бы в царстве мертвых — нет, нет! Никогда! Ни за что!

Ведь это же леди Брутн? (Она ее знала когда-то.) И Питер Уолш — седой Питер Уолш? — спрашивала себя леди Россетер, (прежняя Салли Сетон). А это, конечно, старая мисс Парри — старуха тетка, которая вечно злилась на нее, когда она жила в Бортоне. Ей в жизни не забыть, как она неслась, голая, по коридору, а потом должна была предстать перед мисс Парри! И Кларисса! Ох, Кларисса! Салли схватила ее за локоть.

Кларисса стала с ними рядом.

— Но сейчас я не могу, — сказала она. — Я еще вернусь. Подождите, — сказала она, оглядываясь на Питера и Салли. Пусть они подождут, она имела в виду, пока разойдутся все эти люди.

— Я вернусь, — сказала она, оглядываясь на старых друзей, на Салли и Питера, которые трясли друг другу руки, и Салли — конечно, вспомнив прошлое, — хохотала.

Но в голосе у нее уже не было прежних победительных обертонов; глаза не светились, как прежде, когда она курила сигары, когда неслась по коридору в чем мать родила и Эллен Аткинс спрашивала: «А если б кто из джентльменов увидел?» Но все ей прощали. Она стащила в кладовке

цыпленка, проголодавшись как-то ночью; она курила сигары у себя в комнате; она забыла в лодке бесценную книгу. Но все обожали ее (кроме, кажется, папы). Из-за ее энергии; из-за ее живости — она рисовала, писала стихи. Старухи в деревне по сей день спрашивают: «А как ваша подруга в красном плаще, помните, веселая такая». Она уверяла, что Хью Уитбред, именно Хью (вон он там, старый друг, занят беседой с португальским послом) поцеловал ее в курительной в наказание, когда она потребовала избирательного права для женщин, вот тебе и «неужто», он же пошляк, сказала она. И Кларисса, помнится, уговаривала ее не выносить преступления Хью на семейный суд, а с нее бы сталось. Отчаянная, безответственная, склонная к сценам, при вечном стремлении быть в центре событий — Кларисса боялась, что она плохо кончит; что ее ждет ужасная трагедия; смерть; мученичество; а она взяла и вышла замуж за лысого господина с громадной бутоньеркой, у которого бумагопрядильни в Манчестере. И родила пятерых сыновей!

Они уселись с Питером рядышком — разговаривать. Такая знакомая картинка — эти двое за беседой. О прошлом, конечно. С ними двумя (больше даже, чем с Ричардом) связано прошлое;

сад; деревья; старый Йозеф Брайткопф, который пел Брамса совершенно без голоса; обои в гостиной; запах циновок. Салли навсегда останется частью всего этого; и Питер останется. Но ей надо их бросить. Явились Брэдшоу, неприятные ей.

Надо подойти к леди Брэдшоу (в сером, в серебре, — как тюлениха, тыкающаяся в край бассейна, тявкающая про приглашения, про герцогинь, типичная жена процветающего мужа), надо подойти к леди Брэдшоу и сказать…

Леди Брэдшоу ее опередила.

— Мы кошмарно опоздали, милая моя миссис Дэллоуэй, мы даже идти не решались, — сказала она.

И сэр Уильям, столь благородный, седовласый и синеокий, сказал — да, верно; но они не удержались от соблазна. Он уже пустился в беседу с Ричардом, наверное, насчет этого законопроекта, который они собирались провести через палату общин. Почему же у нее все сжалось внутри при виде сэра Уильяма, беседующего с Ричардом? Он выглядел именно тем, кем был — великий доктор. Светило в своей области, очень влиятельный человек, очень усталый. Еще бы — кто только не прошел через его руки — люди в ужасных мучениях; люди на грани безумия; мужья и жены. Ему

приходилось решать страшно трудные проблемы. И все же — она чувствовала — в несчастье не захочется попадаться на глаза сэру Уильяму Брэдшоу. Только не ему.

— Как дела у вашего сына в Итоне? — спросила она у леди Брэдшоу.

Он как раз не смог сдать экзамены, сказала леди Брэдшоу, из-за свинки. Отец даже сильней огорчен, чем он сам, «ведь он, — сказала она, — в сущности большой ребенок».

Кларисса взглянула на сэра Уильяма, беседовавшего с Ричардом. Нет, на ребенка он не похож — решительно не похож на ребенка.

Она как-то кого-то водила к нему за советом. Он прекрасно все понял; очень мудро распорядился. Но — Господи! — до чего же приятно было снова очутиться на улице! Какой-то бедняга, она запомнила, рыдал в приемной. Она сама не могла понять, в чем тут дело; почему же именно так не нравится ей сэр Уильям. Правда, Ричард с ней соглашался, ему он тоже не нравился «на вкус, по запаху». Но страшно способный человек. Речь шла о законопроекте. Сэр Уильям, понизив голос, упомянул о каком-то случае, который имел отношение к только что сказанному о поздних последствиях контузии. Следовало учесть это в

законопроекте.

Понизив голос, увлекая миссис Дэллоуэй под сень общих женских забот и общей гордости необычайными мужьями — увы, одинаково не жалеющими себя, леди Брэдшоу (бедная курица — в ней-то самой ничего неприятного) поведала, как, «только мы собрались идти, мужу позвонили — очень печальный случай. Молодой человек (про него-то сэр Уильям и рассказывает мистеру Дэллоуэю) покончил с собой. Участник войны». Ох! — подумала Кларисса, посреди моего приема — смерть, подумала она.

Она прошла по гостиной и вошла в ту маленькую комнатку, где уединялись премьер-министр с леди Брутн. Вдруг там кто-то есть? Но не было никого. Кресла еще помнили позы: леди Брутн склонялась почтительно; прямо, незыблемо сидел премьер-министр. Они говорили об Индии. Сейчас там не было никого. Блеск приема погас — так оказалось странно войти туда одной, в вечернем туалете.

И зачем понадобилось этим Брэдшоу говорить о смерти у нее на приеме? Молодой человек покончил с собой. И об этом говорят у нее на приеме — Брэдшоу говорят о смерти. Он покончил с собой. Но как? Она всегда чувствовала все, будто

на собственной шкуре, когда ей рассказывали о несчастье; платье пылало на ней, тело ей жгло. Он выбросился из окна. В глаза сверкнула земля; больно прошли сквозь него ржавые прутья. И — тук-тук-тук — застучало в мозгу, и тьма задушила его. Так ей это привиделось. Но зачем он это сделал? И Брэдшоу говорят об этом у нее на приеме!

Когда-то она выбросила шиллинг в Серпантин, и больше никогда ничего. А он взял и все выбросил. Они продолжают жить (ей придется вернуться к гостям; еще полно народу; еще приезжают). Все они (целый день она думала о Бортоне, о Питере, Салли) будут стареть. Есть одна важная вещь; оплетенная сплетнями, она тускнеет, темнеет в ее собственной жизни, оплывает день ото дня в порче, сплетнях и лжи. А он ее уберег. Смерть его была вызовом. Смерть — попытка приобщиться, потому что люди рвутся к заветной черте, а достигнуть ее нельзя, она ускользает и прячется в тайне; близость расползается в разлуку; потухает восторг; остается одиночество. В смерти — объятие.

Но тот молодой человек, который покончил с собой, — прижимал ли он, бросаясь вниз, к груди свое сокровище? «О, если б мог сейчас я умереть, счастливее я никогда не буду», — так она говори-

ла когда-то, спускаясь к ужину, в белом платье.

И есть поэты, мечтатели. Вдруг у него была эта страсть, а он пошел к сэру Уильяму Брэдшоу, великому доктору, но неуловимо злобному, чрезвычайно — без пола и вожделения — обходительному с дамами, но способному на неописуемую гадость — он тебе насилует душу, вот, — вдруг тот молодой человек пошел к сэру Уильяму, и сэр Уильям давил на него своей властью, и он больше не мог, он подумал, наверное (да, теперь она поняла), — жизнь стала непереносимой; такие люди делают жизнь непереносимой…

А еще (она как раз сегодня утром почувствовала) этот ужас; надо сладить со всем, с жизнью, которую тебе вручили родители, вытерпеть, прожить ее до конца, спокойно пройти — а ты ни за что не сможешь; в глубине души у нее был этот страх; даже теперь, очень часто, не сиди рядом Ричард со своей газетой, и она не могла бы затихнуть, как птица на жердочке, чтоб потом с невыразимым облегчением вспорхнуть, встрепенуться, засуетиться, — она бы погибла. Она-то спаслась. А тот молодой человек покончил с собой.

Это беда ее — ее проклятие. Наказание — видеть, как либо мужчина какой-то, либо какая-то

женщина тонут во тьме, а самой стоять тут в вечернем платье. Она строила козни: она жульничала. Она никогда не была безупречной. Она хотела успеха, быть как леди Бексборо и так далее. И когда-то она ходила по террасе в Бортоне.

Странно, не верится даже: никогда она не бывала так счастлива. Время хочется задержать; хочется остановить. Нет большей радости, думала она, поправляя кресла, подпихивая на место выбившуюся из ряда книгу, чем, оставя победы юности позади, просто жить; замирая от счастья, смотреть, как встает солнце, как погасает день. Много раз в Бортоне, когда все были заняты болтовней, она уходила взглянуть на небо или видела его у других за плечами во время обеда; смотрела на него в Лондоне, в часы бессонницы. Она подошла к окну.

В нем — хоть это глупая мысль — была и ее частица, в сельском, просторном небе, небе над Вестминстером. Она раздвинула шторы; выглянула. Ох, удивительно! — старушка из дома напротив смотрела прямо на нее! Она укладывалась спать. И небо. Она-то думала, оно глянет на нее, сумрачное, важное, в своей прощальной красе, а оно серыми, бедненькими штрихами длилось среди мчащихся, тающих туч. Таким она

его еще не видела. Наверно, ветер поднялся. Та, в доме напротив, укладывалась спать. До чего увлекательно следить за старушкой, вот она пересекла комнату, вот подошла к окну. Видит или не видит? А рядом в гостиной еще шумят и хохочут, и до чего увлекательно следить, как старушка, одна-одинешенька, укладывается спать. Вот шторы задернула. Ударили часы. Тот молодой человек покончил с собой; но она не жалеет его; часы бьют — раз, два, три, — а она не жалеет его, хотя все продолжается. Вот! Старушка свет погасила! И дом погрузился во тьму, хотя все продолжается, повторила она снова, и всплыли слова: «Злого зноя не страшись». Надо вернуться. Но какой небывалый вечер! Чем-то она сродни ему — молодому человеку, который покончил с собой. Она рада, что он это сделал; взял и все выбросил, а они продолжают жить. Часы пробили. Свинцовые круги побежали по воздуху. Надо вернуться. Заняться гостями. Надо найти Салли и Питера. И она вышла из маленькой комнаты обратно в гостиную.

— Но где же Кларисса? — сказал Питер. Он сидел на кушетке рядом с Салли. (Не мог он после всего называть ее «леди Россетер».) — Куда подевалась эта женщина? — спросил он. — Где Кларисса?

Салли предположила, и Питер, в общем, тоже подумал, что среди гостей — люди влиятельные, политики, которых они оба знают только по газетным фотографиям, и Клариссе надо оказывать им внимание, их ублажать. Она с ними. И тем не менее Ричард не попал в Кабинет. Не очень-то он преуспел, а? — предположила Салли. Лично она газет почти не читает. Его имя мелькает иногда. Но ведь она — ну да, она ведет очень уединенную жизнь; в пустыне, сказала б Кларисса; среди крупных торговцев, фабрикантов, среди тех, кто кое-что производит. Сама она тоже кое-что сумела произвести!

— У меня пятеро сыновей! — сказала она.

Господи, господи, до чего изменилась! Нега материнства; соответственный эгоизм. В последний раз, Питер помнил, они виделись среди капустных грядок, при луне, и листья были «как нечищеная бронза», сказала она со своей этой поэтичностью; и она сорвала розу. Она таскала его в зад-вперед в ту страшную ночь, после той сцены возле фонтана; ему еще надо было успеть на последний поезд. Господи, он ведь рыдал!

Старая его манера — открывать и закрывать нож, думала Салли, вечно он, когда волнуется, открывает и закрывает нож. Они страшно

сдружились — она и Питер Уолш, когда он был влюблен в Клариссу и когда еще разразилась та безобразная, смехотворная сцена из-за того, что она назвала Ричарда Дэллоуэя «Уикэм». Ну подумаешь, ну назвала! Как Кларисса взвилась! И, собственно, они с тех пор толком не виделись, раз пять, может быть, за последние десять лет. А Питер Уолш уехал в Индию и — что-то такое она краем уха слыхала — неудачно женился, и неизвестно даже, есть у него дети или нет, а спросить неудобно, он изменился. Как-то усох. Но он стал мягче, она почувствовала, и он же очень, очень близкий ей человек, с ним связаны ее юные годы, у нее до сих пор сохранилась книжечка Эмили Бронте, которую он ей подарил, и ведь он собирался писать? В те времена он собирался писать.

— Написали что-нибудь? — спросила она, расправляя на колене крепкую красивую руку жестом, который он помнил.

— Ни словечка! — сказал Питер Уолш, и она расхохоталась.

Она сохранила привлекательность, яркость — Салли Сетон. Но кто такой этот ее Россетер? У него было две камелии в петлице в день свадьбы — вот и все, что удалось про него выведать Питеру. «У них сонмы слуг, многомильные оранжереи», —

Кларисса писала; да, что-то в таком духе. Салли сказала с хохотом, что отпираться не станет.

— Да, у меня десять тысяч в год, — не то до налога, не то после, этого она не могла припомнить, потому что муж, — «с которым вам непременно надо познакомиться», сказала она, «который вам непременно понравится», сказала она, снял с нее все заботы по части финансов.

А ведь Салли была бедна как церковная крыса. Она заложила перстень своего прадедушки, подарок Марии-Антуанетты, — так ведь? — чтоб добраться до Бортона.

О, как же, у Салли и сейчас хранится тот перстень с рубином, Мария-Антуанетта его подарила прадедушке. У нее в те времена вечно ветер свистел в кармане, и приходилось страшно изворачиваться, чтоб поехать в Бортон. Но ей было так важно ездить в Бортон — иначе она бы просто, наверное, свихнулась из-за домашнего ужаса. Но теперь все позади — все миновало, сказала она. И мистер Парри умер; а вот мисс Парри жива. Да, он просто ошеломлен, сказал Питер. Он совершенно был уверен, что она давно умерла. Ну а брак этот, предположила Салли, оказался удачным? И та красивая, уверенная девица, вон та, в розовом платье — ведь это Элизабет?

(Как тополь, как гиацинт, как река, думал Уилли Титком. О, до чего ей хотелось в деревню, на вольный простор! И Элизабет определенно расслышала, как воет бедняжечка песик.)

— Ничуть не похожа на Клариссу, — сказал Питер Уолш.

— Ну, Кларисса… — сказала Салли.

Салли вот что хотела сказать. Она Клариссе страшно обязана. Они были настоящие подруги, не знакомые, а именно подруги, и она до сих пор помнит, как Кларисса, вся в белом, ходила по дому с охапкой цветов — по сей день табаки напоминают ей Бортон. Но — Питер ведь поймет? — ей чего-то не хватает. Спрашивается — чего? Она обаятельна; безумно обаятельна. Но, положа руку на сердце (Питер ведь ей старый друг, истинный друг, что значит разлука, что значит расстояние? Она сто раз собиралась ему написать, даже писала, но потом как-то рвала, но он ее, конечно, поймет, все и без слов понятно, вот мы чувствуем, например, что стареем, да, стареем, сегодня она была в Итоне, навещала детей, там у них свинка), но, положа руку на сердце — как Кларисса могла? — как могла она выйти за Ричарда Дэллоуэя? За спортсмена, у которого одни собаки на уме. Буквально же, когда он входит в комнату, от него

несет конюшней. Ну а это все? — и она помахала рукой.

Мимо шествовал Хью Уитбред, в белом жилете, толстый, непроницаемый, незрячий, не видящий ничего, кроме себя и собственных выгод.

— Он и не собирается нас узнавать, — сказала Салли, и она, честное слово, даже растерялась — Хью собственной персоной! Дивный Хью!

— А чем он занимается? — спросила она у Питера.

Питер ей объяснил, что он ваксит королевские штиблеты и считает бутылки в Виндзорском погребе. О, Питер не утратил своего остроумия! Но теперь-то Салли должна быть наконец откровенна, сказал Питер. Насчет этого знаменитого поцелуя.

А как же, в губы, заверила она. Вечером, в курительной. Она тут же в ярости бросилась к Клариссе. Кларисса говорила — Хью! Нет! Неужто! Дивный Хью! У него всегда были изумительной красоты носки, она таких больше ни на ком не видывала. И сейчас — каков туалет! А дети у него есть?

— У всех присутствующих по шестеро сыновей в Итоне, — сказал Питер, кроме него самого. У него, слава Богу, вообще никого. Ни сыновей,

ни дочерей, ни жены. Но он как будто не сетует, сказала Салли. Выглядит он моложе нас всех, подумала она.

Во многих отношениях он сделал глупость, признался Питер, что так женился; «она совершеннейшая курица», он сказал, но, он сказал: «Мы очень славно пожили». Но как же это возможно, недоумевала Салли; что он имел в виду? И до чего же странно — знать его и не знать ничегошеньки о его жизни. И не из гордости ли он такое говорит? Весьма вероятно, ведь, наверно, обидно (правда, он, чудак, немножко не от мира сего), наверно, тяжко в таком возрасте не иметь пристанища, не иметь своего угла? Но он мог бы жить и жить у них — месяцами. Почему бы нет! Ему бы у них понравилось. За все эти годы Дэллоуэи к ним так и не выбрались. Они их сто раз приглашали. Кларисса (это, конечно, Кларисса) не захотела приехать. Потому что, сказала Салли, Кларисса в глубине души сноб — ничего не поделаешь, сноб. И Кларисса считает, что она сделала мезальянс, ведь ее муж — и она этим гордится — сын шахтера. Все, что есть у них, все абсолютно — он заработал своим горбом. Маленьким мальчиком (ее голос дрогнул) он таскал на себе тюки.

(И так могла она говорить часами, чувствовал

Питер; сын шахтера; считают, что она сделала мезальянс; пятеро сыновей; и еще одна тема — цветы, гортензии, сирень, очень-очень редкие гибисковые лилии, они никогда не цветут северней Суэцкого канала, а у нее, при единственном садовнике, в пригороде Манчестера их целые клумбы, буквально целые клумбы! А Кларисса, не увлеченная материнством, всего этого избежала.)

Сноб? Да, кое в чем определенно. Но куда она запропастилась? Поздно уже.

— Да, — сказала Салли, — но когда я узнала, что у Клариссы прием, я поняла, что мне просто нельзя не пойти, просто необходимо взглянуть на нее (а я остановилась тут на Виктория-стрит, буквально рядом). Вот и нагрянула без приглашения. Но объясните, — шепнула она, — умоляю. Это кто?

Это миссис Хилбери искала дверь. Ведь было немыслимо поздно! Но когда поздно, лепетала она, когда все расходятся, тут-то и замечаешь друзей; и уютные уголки; и прелестные виды. Интересно, известно ли им, спрашивала она, что вокруг очарованный сад? Огни, деревья, сияющие озера и дивное небо. А всего-то, Кларисса Дэллоуэй объяснила, несколько китайских фона-

риков во дворе! просто волшебница! Настоящий парк… И ей неизвестны их имена, но они ей, конечно, друзья, а друзья без имен и песни без слов нам милее всего. Однако такая бездна дверей, столько комнат, она просто заблудилась.

— Старая миссис Хилбери, — сказал Питер; а это кто? Та дама, что весь вечер простояла возле занавеса, не сказавши ни слова? Лицо у нее знакомое; что-то связано с Бортоном. Не она ли это вечно кроила белье за столиком возле окна? Дэвидсон — так, кажется?

— А-а, это Элли Хендерсон, — сказала Салли. Кларисса с ней всегда круто обходилась. Она ей кузина и очень бедна. Кларисса умеет круто обойтись с человеком.

Да, сказал Питер, безусловно. И все же, сказала Салли с той порывистостью, которую Питер в ней когда-то любил, а теперь чуть побаивался из-за ее склонности к излияниям, — как Кларисса умеет быть великодушной к друзьям! И это редкое качество, и когда она просыпается ночью или на Рождество перечисляет все выпавшие ей дары, она всегда эту дружбу ставит на первое место. Они были молоды — вот. Кларисса искренна — вот. Питер сочтет ее сентиментальной. Она сентиментальна — действительно. Потому что она

поняла: единственное, о чем надо говорить, — наши чувства. Все эти умничания — вздор. Просто что чувствуешь, то и надо говорить.

— Но я и сам не знаю, — сказал Питер Уолш, — что я чувствую.

Бедный Питер, думала Салли. Почему Кларисса не выбрала времени с ними посидеть? Он весь вечер об этом мечтал. Он только о Клариссе и думал. Она чувствовала. И он все время играл перочинным ножом.

Жизнь не простая штука, сказал Питер. Отношения его с Клариссой были непросты. Они ему испортили жизнь, сказал он. (Он был так откровенен тогда с Салли Сетон, теперь-то смешно уж таиться.) Дважды любить невозможно, сказал он.

Что тут ответишь? Все-таки лучше знать, что любовь была (но он сочтет ее сентиментальной, он всегда был суров). Лучше б он приехал и пожил у них в Манчестере. Совершенно верно, сказал он. Совершенно верно. Он с удовольствием у них погостит, вот только разделается с хлопотами в Лондоне.

А ведь Клариссе он нравился больше, чем Ричард. Салли просто не сомневалась.

— Нет, нет, нет! — сказал Питер (Салли не

следовало так говорить, это уж слишком). Вон этот добрый малый — в дальнем углу гостиной, разглагольствует, все тот же — милый старина Ричард. С кем это он, допытывалась Салли, такой почтенный, благородный господин? От этой жизни в пустыне у нее разыгралось страшное любопытство к новым лицам. Но Питер не смог ей ответить. У него этот господин, он сказал, совершенно не вызывал восторга; министр, надо думать, какой-нибудь. Ричард из них из всех, он сказал, вероятно, лучший, самый бескорыстный, вероятно.

— А чем он занимается? — интересовалась Салли. Общественной деятельностью, предполагала она. И счастливы ли они? (Сама-то она счастлива безмерно.) Ведь ей про них, в сущности, ничего неизвестно, допускала она, и судит она поверхностно, ибо что мы знаем даже о тех, с кем живем бок о бок, спрашивала Салли. В сущности, все мы узники, не правда ли? Она недавно прочла дивную пьесу про человека, который царапал по стене в камере, и так это жизненно — все мы, в сущности, царапаем по стене. Отчаявшись в человеческих отношениях (с людьми до того трудно), она часто уходит в сад и среди цветов обретает покой, которого люди ей дать не могут.

Ну уж нет; он-то капусту не любит; ему больше нравятся люди, сказал Питер. Правда, до чего хороши молодые, сказала Салли, глядя на Элизабет, проходящую по гостиной. Как непохожа на Клариссу в ее возрасте! Может он в ней хоть что-то понять? Она рта не раскрывает. Да, действительно, соглашался Питер, он пока мало что понял. Она похожа на лилию, сказала Салли. На лилию у края пруда. Только Питер не мог с ней согласиться, что мы ничего не знаем. Мы знаем все, говорил он; сам он, по крайней мере, знает все.

Ну а эти двое, шепнула Салли, которые уходят (сама она тоже скоро отправится, если еще долго не будет Клариссы), этот господин благородного вида и его простоватая жена, которые только что говорили с Ричардом, — что можно знать про таких людей?

— Что они отъявленные мошенники, — сказал Питер, глянув на них мельком. Он рассмешил Салли.

Сэр Уильям Брэдшоу, однако, задержался в дверях, разглядывая гравюру. Он поискал в уголке имя гравера. Жена поискала тоже. Сэр Уильям Брэдшоу весьма интересовался искусством.

Когда ты молод, сказал Питер, ты стремишься узнать людей. А теперь, когда ты стар, точней,

когда тебе пятьдесят два года (Салли исполнилось пятьдесят пять, — на самом деле, сказала она, — но душа у нее как у двадцатилетней девчонки); словом, когда ты достиг зрелости, сказал Питер, ты уже умеешь видеть и понимать, но не теряешь способности чувствовать. А ведь правда, сказала Салли. Она с каждым годом чувствует все глубже, сильней. Чувства растут, сказал он, к сожалению, быть может; но этому трудно не радоваться. По его личному опыту — чувства только растут. У него кто-то остался в Индии. Ему бы хотелось рассказать о ней Салли. Ему бы хотелось их познакомить. Она замужем, сказал он. У нее двое маленьких детей. Им всем надо непременно приехать в Манчестер, сказала Салли. Она его не отпустит, покуда он ей этого не пообещает.

— Вот Элизабет, — сказал он. — Она и половины не чувствует того, что чувствуем мы.

— И все же, — сказала Салли, следя за тем, как Элизабет подходит к отцу, — видно, что они друг к другу очень привязаны. — Она это поняла по тому, как Элизабет подходила к отцу.

А отец смотрел на нее, когда разговаривал с сэром Уильямом и леди Брэдшоу, и он думал: кто эта прелестная девушка? И вдруг он понял, что это его Элизабет, а он ее не узнал, такую прелест-

ную в розовом платье! Элизабет почувствовала на себе его взгляд, когда разговаривала с Уилли Титкомом. И она подошла к нему, и они стояли рядом, и прием почти кончился, и все расходились, и был сор на полу. Элли Хендерсон и та собралась уходить, чуть ли не самой последней, хотя с нею за весь вечер слова никто не сказал, но ей все-все надо было увидеть, чтоб потом рассказать Эдит. И Ричард с Элизабет, в общем-то, радовались, что кончился прием, но Ричард гордился дочерью. И он не собирался ей говорить, но не удержался. Он смотрел на нее, он сказал, и думал: «Кто эта прелестная девушка?» И это, оказывается, его дочь! И Элизабет была очень-очень рада. Если б только бедный песик не выл!

— Ричард лучше стал, вы правы, — сказала Салли. — Пойду поговорю с ним. Пожелаю ему спокойной ночи. Что такое мозги, — сказала леди Россетер, вставая, — в сравнении с сердцем?

— Я тоже пойду, — сказал Питер, и он еще на минуту остался сидеть. Но отчего этот страх? И блаженство? — думал он. Что меня повергает в такое смятение?

Это Кларисса, решил он про себя.

И он увидел ее.